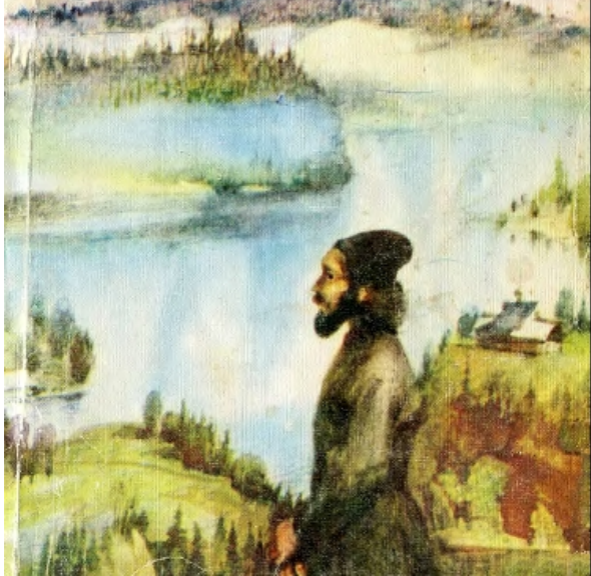


СТАРАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Вас. Ив. Немирович-Данченко

МУЖИЦКАЯ ОБИТЕЛЬ



Василий Иванович Немирович- Данченко

Мужицкая обитель

Книга талантливого русского писателя Василия Ивановича Немировича-Данченко (1844–1936, старшего брата основателя Художественного театра), высланного из страны в 1921 г., публикуется в серии «Старая книжная полка» (Библиотека юного читателя). Это художественно-этнографические очерки, описание путешествия-паломничества на остров Валаам в древнейший русский православный монастырь. Книга не переиздавалась после Октябрьской революции и стала в настоящее время библиографической редкостью. Нет сомнения, что «Мужицкая обитель» будет интересным чтением не только для детей среднего и старшего школьного возраста, но и для всех взрослых — любителей русской словесности.

Следуя принципам современной орфографии, новое издание с возможной точностью воспроизводит текст старой книги, а также оформлено старыми иллюстрациями.

Содержание

I	.0005
II	.0016
III	.0023
IV	.0040
V	.0048
VI	.0056
VII	.0072
VIII	.0084
IX	.0087
X	.0093
XI	.0105
XII	.0117
XIII	.0123
XIV	.0143
XV	.0160
XVI	.0174
XVII	.0184
XVIII	.0189
XIX	.0192
XX	.0199
XXI	.0207
XXII	.0215
XXIII	.0223
XXIV	.0228
XXV	.0235

XXVI	0249
XXVII	0256
XXVIII	0264
XXIX	0272
XXX	0285
XXXI	0298
Об авторе этой книги	0303
Комментарии	0309



I

В открытом озере. — Буря

Верст двенадцать плутали мы по закоулкам и извилинам салм[1] и заливов ладожского побережья. Наконец последняя шкера[2] отошла назад и закуталась в серый туман. Впереди открытое озеро, я сказал бы море, потому что по глубине и размерам Ладога более заслуживает это имя, чем какая-нибудь Азовская лужа. Берега на восток, север и юг — даже и не мерещились. Спокойный и величавый простор окружал отовсюду смутные силуэты нескольких островов, до которых мало-мало было двадцать пять верст.

Сероватое освещение как раз под стать недвижному простору. Жары как не бывало.

Все небо затянуло не тучками, а белыми, сквозными крыльями. Кое-где по зеркалу Ладоги бежали бороздки от лениво поднявшегося ветра. Но и он, точно уставая, прикивал к теплой воде и засыпал на ней...

Изредка перед нами подымалась из воды черная усатая голова тюленя... Степка Юдин, мой лодочник, свистал каким-то особенным способом, и нерпа[3] еще раз два-три ныряла из озера по направлению к нашей лодке...

Вода и небо... И то, и другое — веявшие на нас невозмутимую, благоговейную тишиной. Невольно воображение рисовало нашу планету, когда она носилась в пространстве, вся покрытая водою, когда от нее земля еще не отделилась и, по преданию, дух Божий носился над молчаливым, единым океаном; когда все разнообразие являлось только в переливах освещения. Солнце восходило и заходило тогда над безжизненной землей, играя на гребнях валов и золотя густые облака.

Безжизненною! Можно ли определить тот предел, где кончается жизнь и начинается механическое движение? Мы, впрочем, и не будучи свидетелями первых дней творения,

любовались теперь на удивительные эффекты освещения. Когда солнце, закатываясь, вышло из-за белых крыльев, весь безбрежный простор разделился на три сливающиеся по краям полосы. На западе зыблется пламя, струится багряное по тихим водам, мало-помалу бледнея, по мере приближения к середине озера, и переходя в белесоватые, а потом и совсем стальные тоны. Вся восточная окраина Ладоги от очистившегося над нею вечернего неба казалась зеленоватой...

Несколько уже часов плыла наша лодка, мерно рассекая воду: наконец скучно стало.

— Скоро ли?

— А вот когда этот остров, — указал Степка на один из силуэтов валаамского архипелага, — зайдет за тот — будет половина!

Берег позади чуть виден. Едва-едва каймится. Валаам заметно растет перед нами. Уж теперь можно отличить, что остров лесистый. Весь синий, он несколько мрачен, как и сама обитель. В синеве поблескивает, точно затерявшаяся в пространстве искра, купол Никольского скита, и мерещится белым пятном собор. Я держу руль прямо между ними.

Мои спутники не только не внушают недоверия, напротив, наперерыв делятся со мною скудными сведениями о Валааме.

— А что, здесь часто бывают бури?

— Вона! Наше озеро с полным удовольствием. Какая лодка-сойминка[4] — самая праведная! Как ни грузи ее, волной и без бури захлещет, бывает! Тут вот сколько наших сойминок тонуло — страсть! Тыщи! Это только слава, что озеро — морю не уступит. А зимой... Тоже мы ехали... Эконома валаамского я из сердобольской ярмарки[5] вез. Поднялась мзга... Ветром лед рямит. Треск... Вода сквозь — полно уж все. Едем по льду, а нас волна гонит. Отец Алексей все молитвы, какие знал, прочел. "Господи, что будет с нами?" А что Бог даст, отче, говорю. "Назад бы, Степушка..." Повернул я назад, а там уж волны в сажень ходят. Как добрались — не помню, оглушило. Настоящее отражение!

Как простор Ладоги развивает зрение. Я и в бинокль едва мог рассмотреть какие-то тучки на воде — острова, а Степка Юдин по очертаниям определил, на каком именно из них его брат сено берет.

— Вон, гли-ко... Лодочка малая нам ув-
стрен!

— Не видать. В бинокль тоже!

— Эх, барин, ваши бинки[6] эти ничего не
стоят!

Подъехали еще версты две. Действитель-
но, лодочка ползет на нас.

— Кого несет? — кричат оттуда.

— Барина!

— Давно ль Степка в баре произошел?
Ишь, вороватая душа. Ах, ты, песья муха, и
впрямь барина везет. Отколь зацепил?

— С Сердоболя!

— И судьба же этому Степке! Никому, окро-
мя его, не достанется. Поди, пятерку слупил?

— Не, десятку! — торжествовал Юдин, ни-
сколько не стесняясь моим присутствием.

— Ну, и прокудим[7]! И что это за мужи-
чонка у нас Степка...

— Сожри тебя Ладога!

И пошли крылатые слова летать по ветру
из одной лодки в другую...

Не успели мы проплыть и версты, как с за-
пада вдруг побежал ветер. То все был попут-
ный, а тут чуть с одного не перевернул нашу

сойминку, точно желая оправдать только что сделанную рекомендацию Ладоги.

— Держи руль! Убирай парус! — вдруг взял в свои руки командование лодкой еще недавний Степка.

Володька-артист и Гейна схватились за дело. Новый порыв ветра вырвал у артиста весло; едва догнали, причем Володька не только получил от Степки затрещину, но и перенес оную с истинною христианскою кротостью.

— Правей руль! Правей! Круче! Опружит [8]! — орал на меня Степка во все горло, точно стараясь перекричать ветер.

Паруса, пока их убирал Гейна, хлестали нам в лицо, завертывались вокруг мачты, вырывались из руки и, как крылья чудовищной птицы, раскидывались в воздухе, чтобы тотчас же зашлепать во все стороны. Ветер теперь уже ревел кругом, кидаясь направо и налево, вертясь на месте, как одержимый, то припадая к волнам, то взрываясь к самым облакам. Волнения еще не развело, но вихрь уже вырывал бездны — воронками, в которые стремглав летела лодка, чтобы тотчас же подняться на новом, выросшем под нею хребте...

Обшивка сойминки трещала и стонала, как живая, жалуясь на удары, сыпавшиеся на нее отовсюду.

Кабы не разломило! — заботливо оглядывал ее Степка.

— А что, жидка?

— Да наше дело скорбное. Нужа ест поедом. Где исправную лодку завести!

И при этом, в виде знака препинания, трах Володьку по уху.

Ветер был так силен, что руку рвало от руля. Приходилось держать его обеими. Я уже проклинал и отца Парамона, посоветовавшего в Сердоболе этот способ путешествия. В самом деле, куда как интересно потонуть посреди Ладоги, да еще так, что никто и не узнает, куда ты девался и что с тобою было. Облака быстро неслись, то открывая белые пятна беззвездного северного неба, то скучиваясь темными массами. Где-то ударило громом, молнию мы пропустили, зато вдруг рядом струя небесного огня неожиданно скользнула в волны, и стихийный треск раздался над нами. Казалось, что твердь небесная, повинувшись чьему-то могучему слову, расселась над этим

могучим, бунтующим озером.

— Ну, брат Юдин, плохо!

— Чего хуже! Читай молитву преподобному Герману[9]. Он помогает. На свою силу надежда плоха!

— Куда править-то?

Острова слились в один. По этому признаку заключали, что осталось до скита Никольского пять верст.

— Теперь, коли будешь держать верно, мигом донесет!

— А если с курса собьюсь?

— Ну, тогда на дно к рыбам!

Выбора не было. К счастью, направление взято как следует. Ветер не давал у островов скопляться туману, и собор был виден отлично сквозь брызги волн. Иногда его заслоняли белые, косматые гребни, которые подымались перед нами, точно заглядывая в лодку, что там? Нас уже захлестывало. На дне лодки билась вода. Черпать ее было некому. Дай Бог справиться с веслами...

— Зальет?

— Как Бог! Видишь сам: ничего не поделаешь. Держи руль!

Володька несколько оправился. И про затрещины забыл.

— Вижу я, брат Степка, ты у нас мужчина без всякой причины!

— Это как?

— Да так. Молодец! Ишь, управляешься!

— Это что за островок виден? — показываю я высывывавшийся перед одним концом Валаама не то утес, не то там клочок земли.

— Кабак!

— Как кабак?

— Так. Тут много островов малых. Кабаками зовутся!

— Да ради чего же?

— Должно быть, здесь водкой прежде торговали.

— Никогда не торговали! — вступился Володька.

— Ты знаешь!

— Я знаю. А это, видите ли, на Ладого водки отнюдь не полагается. Они, странники-то, о водке и скорбят. Потому всякий малюсенький клочок земли им кабаком кажется. Спят и видят. Стоит-де, сердечный! Ну, и легче им. Тоже тварь земная ведь!

Под свист ветра, под грохот бури, под крики гребцов сумрачно выростал Валаам. Вон и пролив виден. Огонек по нему скользит. Это монашеский пароходик двигается там. Затишье в этих салмах. Ветер и буря не проникают в их мирные пустыни, защищенные крутыми и гористыми берегами. Глаз не оторвать оттуда... Как бы доплыть скорей, скорей уйти из-под бури, от хаоса, в котором не различаешь, где тучи, где волны, ветер ли это бьет в лицо, или брызги с гребней вспененных волн срываются и несутся навстречу.

— Давай ход! — покрикивает Степка. — Давай ход! Перед!..

Никольский скит все растет и растет перед нами. Вот его красная кирпичная церковь, точно сторожевая крепость монастыря. Не мы бежим к берегу, а берег на нас. Пришлось перевалить руль налево, чтобы не наскочить на утесы. Еще минута, и берег набежал, и наша лодка вся мокрая, точно вспотевшая, недужно и устало покачивается в тихой салме. Буря осталась позади. Там, за очарованным кругом, бесятся и злобствуют стихийные силы зла. Миллионы демонов орут в бессиль-

ной ненависти, но им не дано проникнуть в мирный уголок.

— Слава Тебе, Господи! Пристали!

— Вот и таможня. Сейчас осмотр будет!

Гейна и Володька зашушукали, делая какие-то таинственные движения в лодке.

— Таможня, выходи! — заорал Степка.

Но в кельях скита темно. Ни шороха, ни движения крутом.

— Поплывем так дальше! — предложил я.

— Нельзя!

— Почему?

— Порядок такой у них. Нужно отсюда билет представить, что у нас ничего нет. Тогда и в монастырь пустят. А без билета назад прогонят. Отец Никандра у них гостинник[10] строгий. Он, брат, турнет!

— Отец Стефан! — опять заорал Степка.

В одном из окон скита засветился огонек. Спустя минуту огонек точно сбежал вниз и пошел нам навстречу. Еще минута, и за ручным фонарем обрисовалась высокая стройная фигура молодого монаха.

— Вот и таможня. Сейчас начнется!

Монастырская таможня

Пока я всматривался в сумрачные очерки монастыря, у креста, стоявшего на берегу, шел подробный допрос. О. Стефан оказался действительно докой.

— По правде, братцы, нужно жить, по правде!

— Точно, отец Стефан! — совался к нему Володька под благословение.

— Погоди, чего тычешься? На все время. Дай свою должность исполнить, а потом и благословлю, коли будешь стоять!

— Помилуйте, святой отец, я за эту за самую за правду в какое положение произошел. Генерал Тренев теперь же говорит...

— Не тараторь! Некогда мне с вами. Ну, так, братцы, по совести будем: есть у вас что или нет?

— Нет! Помилуй, — распинался Степка, — разве я в первый раз?

— Ну то-то... Так ничего? Без правды, ребята, плохо!

— Вот как перед истинным!

— Папирос, табаку?

— Нет, и не пахнет! — Степка, для пущего убеждения, вывернул карман и, держа его в руках, сунулся к монаху.

— Не егози... Водки нет?

— Нет и звания. Помилуйте, при такой святости и вдруг водка. Да мы за неделю в рот ничего не берем! Тоже очищаемся. А не то чтобы неgleжа[11]. Славу Богу — не свиньи!

— Ну, выходи все из лодки!

Лица у моих гребцов вытянулись. По вопросам о Стефана они было думали, что обыска не будет, а тут как нарочно... Пожалуйте к расчету.

В пустую лодку вошел монах и давай шарить. Во всех углах, каждую дощечку поднимал, в каждую щель запускать пальцы... Волонька с напряженным вниманием следил за ним, волнуясь каждый раз, когда о. Стефан подбирался к правому борту.

— Найдет, а? — шепотом спрашивал он у Гейны.

— Нэ! — отрезал тот, совершенно спрятав глаза.

— Ах, найдет! Вот, вот... Нашел!..

И Володька забеспокоился.

— Это, отец Стефан, невзначай, ей-Богу, невзначай! Сам забыл...

— Вот и видно, что не по правде живешь! Ишь, плутовство-то у тебя... Оказывает!.. — В то же время отец Стефан не только бросал в воду, но и рвал пачки с мокрыми папиросами. Полез в корму...

— Это еще что? Нюхательный табак, а?

— Для всеобщего бдения! — солидно объяснялся Степка. — Плоть немощна. Так чтобы не заснуть!

— Когда всеобщие бдения-то бывают, разве нынче? Да тебя в церковь-то и не загнишь, знаю тебя. Экой склизкий мужик, Степан!

— Помилуйте, я это для храма Божьего!

— Табак-то для храма? Не по правде живете, нет в вас правды!

Обыскал лодку. Гребцы было полезли в нее.

— Стой, стой! Степан, подходи!

Схватил шапку, ощупал, надел на голову ему, потом под мышки запустил руки, за пазуху... И вдруг, когда Степан менее всего ожи-

дал этого, таможенный монах схватил его за голенища.

— Это что? — вытащил он маленькую бутылочку.

— Лекарство. У меня дети в оспе, так из города.

— Ишь, какое лекарство, — ромом оно у тебя пахнет. Хороший медикамент...

— Не бросайте, отец Стефан, ради Христа! — кинулся к нему Володька.

— Ну?

— Зубы у меня... Страсть... Дозвольте, я сейчас только прополощу зубы... Болят...

— Ах, ты семя злое! Вот, господин, на какие шутки пускаются, а! — озлобленно обернулся монах ко мне — и трах бутылку оземь.

— А и ром-то какой был! — вздохнул Юдин, по-видимому, забыв о лекарстве.

Настала очередь Володьки.

— Ну, ты парень жох! — И давай его тереть. Чуть не догола раздел. И в портянках посмотрел даже.

— Видите, задарма обижаете! — оскорбленным тоном заговорил было Володька, но о. Стефан в это время вытащил у него из рукава

пачку сигар, которую тот перекидывал из руки в руку.



Ну, ты парень жох! И давай его теревить.

— Задарма! — ломал он сигары.

— И как они туда попали — убей, не знаю! — невинно удивлялся Володька, причем его глупый толстый нос казался еще глупее.

Гейна вышел чист, как младенец. На этом

неповоротливом куске мяса и костей даже и не отразилось ничего.

— Вот хоть и лютер[12], а правду знает! — похвалил его о. Стефан.

Гейна, ковыляя, как утка, пошел в лодку.

— Ревизор! — злобствовал Володька, отчаливая.

— Да, уж червем везде выползает! — негодовал Степка, глядя на оборванные папиросы, плававшие по салме.

— А я свое схоронил! — вдруг торжественно изрек Гейна и вытащил на шнурке привязанную у кормы снаружи мокрую пачку сигар и папирос.

— Ах ты тварь! Смотрите, глуп-глуп, а что придумал. Как это тебя умудрило, а?

Странники, разумеется, на Валааме с наслаждением бы покупали водку, да негде. Присмотр везде самый строгий. По всем берегам и островам точно кордон. Это, разумеется, создание о. Дамаскина, который пристально следил за прекращением подобной торговли повсюду, где только живут валаамские иноки.

Сумрак густится. Мы опять ползем проли-

вом. Издали, из-за лесного царства мелькают главы церквей, башни, куполы. Где-то бьет колокол. Звуки далеко разносятся по спокойным водам.

— Да, брат, тут пьяным не напьешься!

— Разве на пароходе, в буфете...

— Один богомолец тут был — смех!

— А что?

— Едет на Валаам — напьется, спьяна в Сердоболь попадет, потому на Валаам пьяных с парохода не пускают. Едет из Сердоболя — опять пьет, везут его в Питер. Так он без мала месяц чертил и ни разу на Валаам попасть не мог!

Белый собор монастыря плавает над лесными вершинами. В сумраке очертания делаются полувоздушными... Лодка пристает к берегу... Громадное здание гостиницы вверху. Везде все пусто. 12 часов ночи... Обитель спит. Ни в одной келье не мерещится огонек.

— Ну, отца Никандра будить теперь!

И мы двинулись в монастырскую гостиницу.

Валаам во времена оны

Валаам издревле служил всем верам. В глубокой древности здесь было главное капище Велеса, или Волоса, и Перуна[13]. Из окрестных мест, с отдаленнейших берегов озера Нево, как тогда называлась Ладога, сюда сходились на поклонение языческие пилигримы. Камни алтарей не раз орошались кровью человеческих жертв, и, брызгая ею в лица богомольцев, жрец священнодействовал с глубоким убеждением в своей правоте. Служению языческим богам как нельзя лучше соответствовала сумрачная природа острова, таинственные убежища его гранитных трупоб, дремучие леса, в которые не всякий входил безбоязненно. От культа Велесова произошло и самое название острова[14]. Оно распадается на два слова: мо — земля (по-корельски) и Вал-Ваал-Ве-лес, т. е. Вал-мо — земля Велесова. Местное предание говорит, что св. апостол Андрей Первозванный[15], просветитель скифов и славян, из Киева добрался до Новгорода, а отсюда по реке Волхову до Ла-

дожского озера. Доплыв до Валаама, он занялся истреблением капищ и идолов. Последующие просветители поступали так же. Рукопись "Оповедь"[16] говорит, что Андрей Первозванный, "Ладогу оставя, в ладью сев, в бурное, вращающееся озеро на Валаам пошел, крестя повсюду и поставляя ревностно по всем местам кресты каменные". Вслед за тем о Валааме свидетельствует опять-таки "Оповедь". По словам этой рукописи, Сергей преподобный сюда завернул, многие Очеслава монеты, под названием "столицы", взял, "кстати и Гуруслава монеты-лепешки золотыя — прихватил". Далее видно, что Валаам управлялся вечем и оказывал покровительство даже знатным иностранцам. Так, например, "в те ж времена посадник Жлотуг укрылся от Каракаллы, императора римскаго, на Валаам". Любопытно, какое имел отношение Каракалла к Валааму и каким это образом у римского императора оказались посадники.

Жизнь иноческая началась здесь ранее святого равноапостольного князя Владимира [17]. А в 960 году уже было монастырское братство с игуменом[18] во главе. Таким обра-

зом, валаамские старцы правы, говоря, что здесь на каждом камне слеза лилась и под каждым деревом молитва возносилась. Основал здесь иночество Сергей-чудотворец. О нем известно только одно: Сергей был "изобразитель" и окончил жизнь в пещере некоего Вага. Он окрестил Мунга, назвав его Куартом. Потом от восточных стран притек сюда св. Герман, коего "слез струи приснотекущая[19], пост, бдения и труды, предел естества превосходящие".

— Они у нас исстари прорицали и чудеса многие творили, — пояснил мне инок, показывая раки преподобных[20]. — У нас на сей предмет и молитва есть такая удобопроизносимая и благопотребная. Богомольцы в молитве сей взывают и глаголют: "Вы бо в недужях явистесь целители, по морю плавающим кормчий и утопающим благонадежное избавление и от всякаго смертоноснаго нашествия хранители, паче же от духов нечистых свобождение, и всяких наветом содержимых очищение и помощь!"

— А теперь чудеса бывают у вас?

— Чудеса мнози, сколько хочешь, только

веруй. Все чудо: гора стоит — чудо, лес на камне растет — предивно. Птица летит — и то чудо, ибо ежели бы господь не повелел ей летать, быть может, она бы и плавала, как Левиафан-рыба, или ползала, как змий-гадюка!

История Валаама затем повествует о некоем блаженном Авраамии-чудотворце из града Чухломы. Родители его были неверны, и он по-чухломски (какой это еще язык?) назывался Иверик. Восемнадцать лет он лежал расслабленный на одре своем и, узнав о Христе Иисусе, помыслил: "Убо помилует ли мя когда? И се внезапно почувствовал в себе силу, нашедшую нань[21], и нача превращатися семя и овамо[22], и рукама, и ногама, пресмыкаяся, владети и возста здрав". Затем он отправляется в новгородские пределы, прославляет имя Божие и на Валааме постригается, причем "новоотрожденный тот муж восприя и зельнейшее богоугодное тцание"[23] Потом Авраам действовал по общей программе: статуев чудесно сокрушал, веру распространял, тьму идолобесия рассевал и дьявола посрамлял неоднократно.

— Неужели не осталось более точных све-

дений о доисторических временах Валаама? — спрашивал я у братии.

— Должно быть, есть в финских и шведских архивах!

— Что ж вы не приложите старания разработать их?

— Во-первых, языков этих не понимаем, а во-вторых, что возможно, делали. Когда одного известного историка отправили в Гельсингфорс[24], то отец Дамаскин послал пятьсот рублей на разработку архивных сведений о Валааме.

— Ну и что же?

— А деньги прикарманил, сведений же никаких, по слову писания, "не даде!".

Второй период истории Валаама, с 960 до 1715 года, полон превратностей, разорений, истреблений. Монастырь то оказывался в развалинах, то возникал вновь в еще пущем блеске. Прежде всего, в XI веке его разорили шведы и повторяли потом это занятие с настойчивостью и злобой невероятной. В 1578 году они, напав на обитель, прирезали 18 доблуженных старцев и 16 послушников, "тщась о распространении ереси люторовой"

[25]. В 1581 году на острове был мор, истребивший и старцев и послушников, а что осталось от мора, то опять попало в лапы к шведам, которые в третий уже раз сожгли обитель. Иноки разбежались по лесам и на версе[26] гор, среди пустыни, поставили свои малые келейки. В 1595 году, перед самым миром, монастырь вновь был разорен шведами. В том же году был заключен мир, и России возвращена вся ее древняя новгородская собственность. Великий князь Феодор Иоаннович возобновил обитель.

— В других монастырях иноки во время нападений защищались. В Соловках, например, в Святых Горах.

— А у нас нет. Потому мы прельщаем кротостию и уловляем смирением. Меча валаамские иноки не обнажали и крови не проливали... Не подобает! Наши латы — вот, — взял он себя за рясу. — Оне ото всего свободят!

— Однако, как шведы-то были... Коли бы вооружились, менее бы вас погибло!

— Эта погибель во спасение. Другие монастыри-то падают и разрушаются, а мы молитвами убиенных и доселе красуемся. Вот вы и

рассуждайте, что выгоднее: вооружиться ли-бо голову под нож... Дело, за которое кровь пролилась, — дело прочное. Не оживет, аще не умрет! Глубокие ростки пускает оно, и нескоро их вырвешь вон. Дурная трава ничем не полита, ни кровью, ни потом. Оттого она год и живет!

В царствование Иоанна Грозного иноческая жизнь так развилась на Валааме, что избыток монашествующих перешел на матёрой берег[27], и в одном только пункте, где ныне стоит Сердоболь, основалось двенадцать скитов. Рай инокам был на Ладогe: все вокруг принадлежало им, так что в XV и XVI столетиях Валаам называли уже не иначе как честною и великою лаврою. Вся корела, даже и кексгольмская, была православной. В духовном отношении монашество более соответствовало своему идеалу, чем ныне. Богатства обители росли. К ней были приписаны деревни, подворья, соляные варницы.

— Да, тогда обитель была воинствующей и торжествующей! — вздохнул монах, беседовавший со мною.

— А теперь?

— И ныне хорошо, и ныне дом Божий не оскудевает.

Мы в нашем очерке минуем всевозможных строителей, игуменов и гостителей монастырских. Для нас гораздо более ценности имели бы сведения об отношениях Валаама к окрестному населению, но, к сожалению, ни в одной из книг, написанных об обители, не встречается данных такого рода. Отношение к крестьянству в настоящее время мы наблюдали сами, о том же, что было прежде, можно судить по тому только, что при первом случае корела кексгольмская и сартавальская обращалась к "пагубному лютерову заблуждению". С 1572 года Валаам делается местом ссылки для "исправления заблуждающихся и кающихся". Так в этом году великий князь Иоанн Васильевич, "угрызаемый совестью о низвержении и мученической кончине св. Филиппа, митрополита московскаго"[28], взял да и объявил врагов почившего иерарха "наглыми клеветниками", а одного из них, бывшего соловецкого игумена Паисия, запер на Валааме для покаяния. В XVI же веке сюда послан архиепископ крутицкий Варлаам за уча-

стие в нечестивом соборе митрополита московского Дионисия с боярами о пострижении жены великого князя Феодора Иоанновича Ирины Феодоровны в иночество "за безчадие" [29]. Потом Валаам, славившийся своим строгим уставом, был тоже излюбленным местом для всяческих исправлений и заточений. Самое положение острова таково, что для тюремщиков лучше и выбрать трудно. Кругом вода, никуда не уйдешь. Иноки же здесь живут и тогда жили строгие, суровые, чуждые земным страстям и, следовательно, состраданию [30]. Воображаю, какое уныние охватывало заточенных среди этих диких скал и молчаливых лесов, как должно было их тянуть отсюда через этот спокойный, неприютный простор Ладоги туда, на юг, подальше, в Москву, Владимир, Киев, откуда их посылали сюда. Так дело шло до 1611 года, когда шведы опять напали на обитель и разрушили ее дотла. Игумен Макарий, братья и служки были умерщвлены. Удалось только спасти мощи преподобных, которые для того опущены были в глубокую могилу — род колодца. Шведы, разорив монастырь, поставили на его месте

маленькую крепостцу и остались в ней. Несколько лет, таким образом, обитель фактически не существовала. Иноки со справедливой гордостью говорят теперь, что на их острове нет камня, который не был бы запечатлен кровью подвижническою; нет места, где бы враги православия не убивали монашествующих. Некоторым суеверным людям и теперь здесь многое чудится. Рассказывают о видении, бывшем какому-то иноку. Шел он по Назарьевской пустыне — одному из самых поэтических уголков Валаама. Вдруг вдали послышалось погребальное пение старого образца, гнусавое. Инок, изумленный, остановился. Было это среди белого дня. Вдали из зеленой чащи, залитой солнечным светом, показалось шествие черноризцев[31] в два ряда. Шли они, сложив руки на груди, образом же были пресветлы и очи имели кротости несказанной. Только, когда шествие приблизилось к монаху, он увидел, что все черноризцы обрызганы кровью и покрыты ранами. Там, где прошли они, трава оказалась непомятой. Они исчезли так же, как и явились, в зеленой чаще, причем тихие отголоски погребального

напева долго носились в воздухе, пока не слились с глубоким шепотом лесных вершин и свистом ветра, проснувшегося между деревьями. Шведы, заняв остров, по преданию, сначала хотели было извлечь мощи преподобных и надругаться над ними, но их постиг недуг, и, выздоровев, они соорудили над могилою святителей деревянную часовню, вскоре, впрочем, забытую. Развалилась и крепостца, поставленная шведами, и весь остров пришел в страшное запустение. Только в большие праздники, неведомо с каких незримых колоколен, над лесными вершинами и молчаливыми скалами носился благовест, коему не внимало уже ничье ухо. Безлюдье и запустение было там, где еще недавно проливались покаянные слезы и возносились горячие молитвы... Только изредка прибрежники Ладogi заплывали сюда для рыбного лова. Редкие проникали внутрь пустынного острова. Один из таких немногих, дойдя до могилы преподобных, увидел над нею полуразрушенную часовню, совсем окутанную отовсюду лесною дремой, и покачнувшийся, мохом поросший крест. По преданию, финн, хотел со-

всем свалить его, но тут же на месте был поражен "язвами". "Вразумленный, он познал все безумие своей дерзости, был исцелен, возобновил крест и часовню и поселился около тех преподобных". Теперь, среди бездорожья, в этом безмолвном царстве сосен и скал, явилось жильё человека. Потомки дерзостного финна существовали здесь до времени игумена Назария, который их выселил в Якимваарский погост, в деревню Кумоля, где они живут, нося фамилию Кокуля. Как кому, а мне всего поэтичнее из длинной истории Валаамской обители кажется именно время запустения и безлюдья, когда остров населяли только могилы, в которых мирно спали мирные иноки. Ко времени, когда Петр Великий повелел восстановить обитель во всем ее блеске и величии, на Валааме уже не оставалось никакого жилья, кроме скудной хижинки поселившегося у часовни финна. Лесная поросль затянула срубы, кое-где в глубоких трупобах догнивали по сырым понизьям балки, и только таинственный звон чудесных колоколен носился над этим царством запустения и смерти.

Во весь первый период до окончательно-го разорения Валаам сослужил большую службу России. Он был представителем наших начал среди корелы, первым форпостом славянского племени. Валаам в значительной степени подготовил почву для обрусения ладожских инородцев[32], и если в самых глухих корельских селах мы слышим чистый русский язык, если видим свои обычаи привившимися там, а в немногих русских поселках племенные особенности сохранившимися неприкосновенно, то заслугу мы должны приписать именно труждавшимся и мучимым шведами старцам валаамским. Как Соловки на севере, так и Валаам на западе, — один среди чуди белоглазой, другой среди корелы и финского племени — высоко держали светоч русского народа и, ни разу не склонив, пронесли его через несколько веков. И та и другая обитель были созданием Господина Великого Новгорода, им он передал свои живые силы, и в них обеих до последнего времени отголоски древнего веча сказывались в общинном устройстве и вершении дел. Сходство между Соловками и Валаамом не ограни-

чивается этим. Валаам, как и Соловки, — мужицкое царство, и в нем вся сила обители.

Итак, Валаам сто лет был в запустении. К счастью, о нем вспомнили вовремя. Тихвинского монастыря архимандрит Макарий обратился к Петру с просьбою не дать мощам Германа и Сергия валаамских "у проклятых лютор в поругании быть" и повелеть те святые мощи "с того Валаамскаго острова от их люторскаго поругания перенести в Тихвин монастырь, дабы они, проклятые люторы, тем не возносились", и от соседних "государств [?!], которыя ныне содержат закон греческий и в благочестии состоят, укоризны и поношения не было". Если просьба была буквально исполнена, Валаам населился бы рыбаками и корелами. Здесь бы устроились крестьянские волости, и нынешней любопытной обители не существовало бы. Тем не менее, хотя просьбу Макария не исполнили, но о Валааме вспомнили; посещая олонецкий край, Петр побывал на островах, и в 1715 году последовал указ восстановить монастырь во всей его прежней славе.

В течение сорока лет обитель росла очень

быстро, но в 1754 году, в день Светлого Христова Воскресения, была внезапно истреблена огнем. Пришлось опять начинать сначала. Через всю историю Валаама проходит одна замечательная черта: чисто мужицкая, сильная, несокрушимая энергия. Через 9 лет обитель обстроилась еще роскошнее, еще просторнее. В Саровской пустыне[33] в то время был строгий отшельник, старец Назарий[34]. Валаам вызывал его к себе, но настоятель Сарова, стараясь удержать его у себя, отозвался о нем как о человеке малоумном и неопытном в духовной жизни. Преосвященный Гавриил[35] проник тайну смирения Назариева.

— У меня много своих умников, пришлите мне вашего глупца! — отвечал он Саровскому игумену.

И старец Назарий сделался, таким образом, строителем Валаама. С этого времени древний монастырь идет вширь. До сих пор он еще не установился и похож на громадный, строящийся дом, где в одних комнатах уже живут, а в других стучат молотки, под топором летят во все стороны щепки, визгливо пилится крепкое дерево, стоит белое облако

над кучами известки. Иннокентий[36] очень удачно продолжал дело малоумного старца Назария, оказавшегося прекрасным хозяином. Последующие игумены тоже не складывали рук, но монастырь в настоящем его виде нужно считать созданием о. Дамаскина[37], правившего им около сорока лет. О. Дамаскин — самый крупный представитель того типа крестьян-деятелей, которыми отличаются наши северные обитатели. Воля, не выносящая противоречий и не терпящая ничьего равенства около, Сила, созидаящая или разрушающая, смотря по тому, как она направлена. В о. Дамаскине выработался наиболее полный тип монахов-строителей, которые сумели из ничего сделать все.

В прошлом веке Валаам владел соляными варницами, мельницей и сенными покосами в Кольском уезде, Архангельской губернии и деревнями по ладожским берегам. Но потом Валааму не повезло. Села были отобраны, острова посещались финнами, которые рубили монашеские леса и косили траву в лугах, ничего не платя инокам. Только при Павле I обитель вздохнула свободнее. Теперь богат-

ства обитатели в землях, лесах, водах и постройках громадны, а даровой труд более чем трехсот человек братии и тысячи богомольцев составляет тоже немаловажный капитал.

Гостиница. — Отец Никандр

Ладожская гроза, как скоро налетела, так же скоро и ушла.

Когда мы по довольно крутой дороге подымались наверх, вдаль, на горизонте, только мигали зарницы, проходя стороной. Направо от нас было довольно большое здание, красное, выведенное из кирпича. Это старая гостиница. Теперь она идет под "простой народ". Прямо перед нами белый фасад новой странноприимницы[38], в которой может поместиться более 2000 человек.

Ни в одном окне не было света, и налево, за белой стеной монастыря, чернели такие же мертвые окна келий и высились, словно стремясь дорасти до туч, колокольни и куполы. Кругом стеною лес. Весенний шелест несся нам навстречу. Именно весенний, мягкий, ласковый. Листья еще нежны, молоды. Тот же лес осенью шумит совсем иначе. В сухом шорохе его слышно что-то старческое. Листва подсохла, пожелтела и шуршит одна о другую, пока ветер не сорвет ее совсем и не бро-

сит в сырое понизье.

— Неужели все спят?

— Все. Известно, они деликатной жизни не понимают, — пояснил артист Володька. — Теперь в Питере только что в разгул идут. Тут, как десять часов, — шабаш. Коты и те дрыхнут!

— Как рано встают иноки?

— Рано-то рано. А только и тоска же!

— Не для веселья собрались! Целый день на работе, — пояснил мне Степка. — Вот как четыре утра, так иноки и за дело. Кто куда. Всем послушание назначено!

— Ну, уж и всем!

— Завтра сами увидите. Ни одного, чтобы так болтался. Тут монастырь строгий!

Тишина давила. Громадным кладбищем казались кельи, соборы, дома... Среди бесцветной финской ночи они были еще мертвее, точно бескровное, ничем не озаренное лицо трупа. Сделал я еще несколько шагов... Что это? Прелестный молодой голос... Простая корельская песня, нервно вздрагивающая, точно подстреленная птица, что на земле бьется, шевелит ослабевшими крыльями, си-

лясь подняться повыше, на простор, а сырая земля ее держит... Больное сердце создает такие песни. Из больной груди плачут они безутешные...

— Кто это?

— Должно, из молодых монахов!

Двери гостиницы заперты.

Мы начали было стучать. Сначала Володька заколотился.

— Ты что, черт! Разве так можно? В кое место попал, что ломишься?

Попробовал Степка раза два-три. Прислушались — никого и ничего.

— Отец Никандра спит, должно быть. Усыка, я его подыму. В окно постучу!

Я сел на лавочку. Стучали довольно долго. Наконец в окне кельи показалась чья-то седая голова.

— Кто тут?

— Богомольца в лодке привезли. Благослови в гостиницу, отец Никандра!

— В лодке? Вона! Какой богомалец, из именитых?

— Генерал, — соврал Володька. — Из Питера, отец Никандра!

Через минуту, наконец, отворились двери. Гостинник, иеромонах[39] Никандр, весь сухой, зорко поглядывающий одним здоровым глазом, в то время как другой, кривой, шарит что-то на стороне, заторопился... Под руку даже подхватил меня.

— Вы извините, отец Никандр, я не генерал, и вообще нигде не служу!

— Не служите! Что ж так? А вы бы послужили. Генералом бы, пожалуй, вышли. Ты, брат Владимир, все в нераскаянности своей пребываешь. На обмане только и стоишь; развлечение мыслей у тебя замечаю особое. А ты себя в нетерпеливости укоряй. Не мог меня дожидаться — генерала выдумал!

— Прости, отец Никандра, я это так...

— Что прости... Я прощу, а только самоуничижения не вижу в тебе никакого. Мысли-то у тебя какие. Все ты паришь к предметам не полезным, а душевредным. Пожалуйте! — обернулся он ко мне.

Длинный, белый коридор по обеим сторонам, точно кельи одиночного заключения, малые комнатки, в одно окно каждая. Стены начисто выбелены известкой. Постели чи-

стые, но грубые, по монашескому положению. В комнате две кровати, простой некрашенный стол и табурет.

— Вот вам и келья. Какого звания будете: благородного или из купцов? Вы что же это на лодке, для развлечения?

— Нет, к пароходу опоздал! Из Сердоболя.

— Скажите, какие вы бесстрашные... А какой на вас чин будет?

— Никакого!

— Как же... Это нельзя, чтоб без чина... Вот это что, книжка у вас?

— Да!

Высмотрел книжки, в бумаги заглянул. О семейном положении поинтересовался и все мои ответы занотовал в памяти.

— А вы каким делом занимаетесь?

— Пишу... Книги вот пишу!

— Скажите... в таких молодых летах! Но наипаче светские?

— Да!

— О прелести суетной. Не для духорадости, а так, хитроумствование! Ну что ж, теперь отдохнуть вам требуется? Одеяло вам принесу сейчас. Покров телесный, а вы о духовном-то

покрове сами позаботьтесь. У нас тут хорошо спится, без вражьих мечтаний[40]. Мы до прикосновения сна молимся. Оттого и видений никаких не бывает. Что же, все осматривать будете?



Вы извините, отец Никандр, я не генерал.

— Да, думаю!

— Ежели пустят!

— Как пустят? Ведь богомольцам же не воспрещено?

— Нет, зачем же. У нас богомольцы из гостиницы в храм и трапезную и опять в гостиницу. А до осмотров не допускают. Но, ежели отец наместник благословит, тогда и вы посмотрите вся сокровенная. Скиты наши. Лошадок вам дадут, а то в ладье повозят. А вы запишите мне на бумажку, зачем вы прибыли, надолго ли и ваше святое имя![41]

— Зачем?

— Нельзя. Я о каждом богомольце докладывать должен отцу наместнику. Вы еще спать будете по немощи своей, а я уж побегу к нему. Прибыл-де светский писатель. Ну и прочее, еже замечу, поясню ему. А потом вы подите, благословитесь — монастырь смотреть. А то и такие писатели есть, сказывают, которые монастыри бранят!

— Как же, есть!

— Доколе Господь их терпит... Это точно, вольное время ныне. А то бы им следовало уста заграждати. Потому — не дерзай! Во оно время жгли таких за ересь.

Отец Никандр впоследствии, когда узнал, что наместник меня принял хорошо, стал очень мил и любезен. Развлекал меня по вечерам беседою сладкогласною и умилялся добродетелями иноков валаамских. Валаам — первая обитель, гостиница которой содержится в безукоризненной чистоте. Пока о. Дамаскин не был разбит параличом, он сам следил за этим, и порядки, введенные им, сохранились и доселе. Клоп и блоха преследовались здесь с ревностью, воистину утешитель-

ною.

— Которую и богомольцы завезут, и ту мы истребляем! А сами они у нас не водятся. По целому Монастырю этой нечисти нет!

— У вас много иноков-корелов?

— Много!

— А они ведь не совсем чистоплотны?

— Это дома, живучи в нищете да лишениях. А тут они так округ себя ходят... Иному господину под стать... Ну, спите! Спите! Завтра я вас разбужу в свое время. Господь с вами! По-есть хотите?

— Нет, спасибо!

— И чудесно. Невоздержание и насыщение чрева — начало всякой страсти есть. Сею-то сытию прежде всего и скорее человек уловляется... Так вы о мясах египетских скорбеть не будете? Нет? Ну, благослови Господи! — И Никандр оставил меня одного.

У о. наместника в келье. — Пустынные дворы. — Воздухоплавание о. Анфима

Хотя Володька оказался человеком неосновательным, тем не менее, слова его оправдались.

На другой день утром, когда я вышел из своей кельи, меня поразило безлюдье, окружавшее монастырь. Нигде не было без толку слоняющихся монахов, на пустынных дворах ни души, только изредка какой-нибудь служака перебежал от собора к кельям, поправляя на ходу свою скуфейку[42]. Иноки все были на послушаниях[43], назначаемых каждому о. Афанасием, наместником, правившим обителью за недугом о. Дамаскина. Вид монастыря не поражал ни тою прелестью, которою пленяют Святые Горы на р. Донце, ни грандиозностью Соловок, где каждый камень древних стен кажется покрытым плесенью пережитых веков. На Валаамский монастырь лучше всего смотреть с другого берега пролива. Прямо из воды подымается хорошо содер-

жимый сад; над его деревьями точно плавают белая стена и главы собора. Двухэтажные корпуса келий не имеют в себе ничего внушительного. Самый монастырь подавляется размерами и роскошью его хозяйственных построек. Громадные кирпичные строения конюшен, фермы, риги, красивые гостиницы далеко переросли его. Зато как хороша рамка соснового леса, березовые, кудрявые чащи, скит св. Николая, рисующийся левее на голубых водах, при самом выходе из пролива. Изредка в пустынных водах скользит челнок возвращающегося рыболова-монаха. Внизу пристань, к ней привалил и слегка попухивает дымком, точно затягиваясь им, маленький пароход, принадлежащий Валааму. Его купил и подарил инокам некто Тюменев, богатый купец. Следы пребывания Тюменева в обители вы заметите везде. У него здесь даже свой скит и своя келья...

Тишина охватывала меня кругом, когда я из одного пустынного двора переходил в другой. Жутко становилось здесь. Престарелый привратник в скуфейке едва имел силы приподнять на меня отяжелевшие веки... На во-

прос, где келья о. наместника, он что-то пожевал и, взмахнув рукой, тотчас же опустился по своей ветхости и немощи на скамью.

— Как жутко у вас! — поделился я впечатлением с попавшимся навстречу иноком.

Тот пытливо оглянул меня...

— Вы это о чем же?..

— Малолюдье...

— Да теперь все на работе. В мастерские зайдите, на ферму, на завод — там у нас самая кипень...

— Да не все же?

— Все на послушаниях... Извините, у нас некогда. У нас с богомольцами еще от отца Дамаскина наказ... Чтобы поношения обители какого не вышло! Простите, Христа ради!

И он побежал куда-то, суетливо помахивая руками.

Все встречавшиеся — в грубых солдатского сукна рясах. Некоторые, которых посылают на рыбный лов Или на рубку дров, в белых холщовых. Все это занято, все это торопится. Другой, которого я остановил было, даже не ответил на мой вопрос, а поклонился в знак своего смирения чуть не до земли и исчез в

ближайшие ворота. С первого шага везде и во всем дисциплина. Тут даже монах к монаху в келью не может войти без благословения настоятеля.

К свиданию с о. Афанасием я подготавливался весьма беспокойно. Никандр-гостиник охарактеризовал этого валаамского сановника так:

— Он, этот отец Афанасий, старец пронзительный... Как сквозь стеклышко душу твою видит, все, чем у тебя нутро полно. Ему, по своей должности, эта прозорливость благопотребна. Без ее, брат, плохо!..

Живет наместник скудно... Две тесные кельи. Только и роскоши, что простенькие цветы на окнах. Картины на стенах, преимущественно виды Валаама, писанные масляными красками, притом весьма наивно. Пахнет ладаном и кипарисом, как надлежит у прозорливого старца. Высокий келейник доложил обо мне полупшепотом в следующей келье...

— А! Отец Никандр мне уж докладывал!

Наместник — совсем крестьянский или средней руки купеческий тип. Умные глаза, на энергичном лице выражение постоянной

заботы. Сильный корпус, к которому, пожалуй, идет монашеская ряса и клобук[44]. Видимо, хороший работник, каким, впрочем, он и был до сих пор. Это строитель валаамского водопровода, сооружения поистине замечательного, отличный механик, приучившийся к этому делу на Бардовском заводе[45], где он был простым рабочим. Вместо прозорливого старца предо мною оказался живой, всем живым интересующийся монах, не изрекающий, но говорящий просто и задушевно, отзывчивый... Я не слышал от него ни единого текста, но всякое замечание, высказанное им, отличалось здравым смыслом, непритязательностью. Видимо, встречаясь с новым человеком, он не упускал случая научиться чему-нибудь, чего он еще не знал. Это именно один из соловецких типов. Не монах византийского склада[46], паче всего прилежащий к пустынножительству, умерщвлению плоти при сценической постановке, нет, — это труженик, постоянно думающий о том, как бы развить то или другое дело, упростить производство, заменить машиной рабочие руки, расширить хозяйство. Короче, монах-строитель, мо-

нах-десятник. Достойный представитель тех промышленных и рабочих общин, которых под высокими главами иноческих соборов и за белыми стенами обителей — у нас не мало, хотя эти общины преследуют служение не тому или другому социальному принципу, а просто, не мудрствуя лукаво, хлопочут о благолепии дома Божьего. Отнимите Зосиму и Савватия у соловецкой рабочей общины[47] и Сергия и Германа у таковой же валаамской — и они не простоят и дня.

— Правда ли, отец Афанасий, что у вас богомольцев не пускают в скит?

— Которые ради праздного любопытства — да. Потому, какое же спасение, если всякий соваться будет к схимникам, да к затворникам. Но вам — иная статья. Сделайте милость, чем больше увидите у нас, лучше. Нам прятать нечего. Мы еще и рады, если узнают о нашей обители... Художников еще с легкой руки отца Дамаскина мы везде пускаем. Вы только скажите, что вам надо: лошадей ли, лодку, пароходик наш — с удовольствием. А то, помилуйте, бабы эти повадились по скитам, что ж хорошего! Приехала молиться —

молись у преподобного, а не шлейся...

Благодаря доброму распоряжению о. Афанасия, мне удалось увидеть здесь даже скит Иоанна Предтечи и Свирский, куда пускают редких...

Выйдя из кельи наместника, я невольно загляделся на тонувший в высоте купол собора. На шпиге его, точно черной муравей, висел какой-то монах с двумя помощниками-послушниками. Они смазывали олифой позолоту шпиги и купола. Больно было смотреть в эту высь, жутко становилось за них.

— Кто это у вас там?

— Иеромонах один, отец Анфим... Он у нас на все руки мужик. Вот гостиницу выстроил. Такие у него от Господа дарования, просто удивление. Все может. Вы как думаете, раз уж он летал!

— Как?

— Да с собора этого. Помутилась у него голова что ли, ну, и слетел вниз... Шибко расшибся; думали — помрет, соборовали[48] уж. Ведь о камень вдарился. Нет, отлежался. Шесть месяцев в келье с койки не поднимался. Ну, и как встал, в тот же день сейчас на

шпиц взлез, поправка какая-то была там. Мы уж его не пускали — куда, слушать не хочет. "Господь, — говорит, — сохранил раз, сохранил и в другой! А если и помру, все же на послушании, на Божьем деле!"

С воздухоплателем этим я познакомился потом.

— Повыше-то — к небу ближе. Как взойдешь, вся горня над тобою, небеса разверзаются, ангелы говорят душе. И помыслы чище. Сверху-то вниз глядишь, и люди кажутся маленькие, да и страсти их самые крохотные, да жалкие... Дух-то что орлими крылами парит; птица летит мимо — точно сестра тебе, ласково на тебя смотрит, близок ты ей, тоже в воздухе, как и она, купаешься. Молитву творить, откуда и слова, совсем не те, что внизу. На земле земля к себе тянет, а тут небо зовет, каждая тучка точно над тобой останавливается, манит: пойдём-де со мною... Ветер ежели мимо, точно дух Божий в нем носится... Нет, хорошо на верее... Лучше нельзя!

Богомольцы. — Исправляемые. — Голодные и холодные

Во время моего посещения Валаама богомольцев было чрезвычайно мало. Несколько корельских семей, да гулящая голытьба из Питера обрадовалась даровым кормам. Так что типы, пропавшие бы в другое время, здесь невольно бросались в глаза. Особенно любовался я двумя купеческими саврасами [49]. Очень уж хороши были. Носы тупыми углами вверх, лбы — впрочем, лба им не полагалось — капуль [50] заменял, золотушные глаза, ничего не выражавшие, и отвислые нижние челюсти. При этом спинжак [51] в обтяжку и штаны, разумеется, колокольчиками.

— Эти зачем тут? — спрашиваю у о. Никандра.

— На исправлении. Третий месяц слоняются!

— Вот, я думаю, томятся?

— Нет, помилуйте. Тятенька у них звероподобный. Мы тут увидели свет, говорят. Одного родитель здесь в монастыре учил. Хорошую

стоеросовую палку об него обломал. Только и беда с ними!

— А что?

— Бог знает как уж это они табак достают!



Купеческие саврасы.

— Да разве богомольцам курить воспрещается?

— А то как. Тут смех с этим куревом. Из Питера какие особы наезжают, можно сказать, сугубые господа, в кавалериях. Так они, что мальчишки, в трубу дымок-от пуцают... Дымком-то в форточку попыхивают. Раз я к одному в келью нечаянно вошел, а у него цигарка в зубу. Он ее сейчас трах — да между пальцы и зажал. Стыдно-с, говорю ему, в генеральском чине, и вдруг такой соблазн. Знаете

устав наш, что нельзя! "Это вы, — отвечает, — насчет табаку, так я, ей-Богу, и не курил, и не курю совсем. Помилуйте, что в ем, в табаке этом... Одно зелье блудное!.." А как он не курит, коли сигарка-то у него сквозь пальцы дымит... Вот я, говорю, пойду, да отцу Дамаскину пожалуюсь... Так он меня стал просить, так просить...

Два купеческих савраса перепели все мотивы французских шансонеток, которые они узнали, разумеется, не из первых рук, и заскучили. Кстати, изобретательность выручила. Слышу я как-то в коридоре:

— Давай канонархать[52]!

— Давай!

— Начинай... Попробуй-ка проканонархать так, как отец Александр канонархает. Ну?

Рев поднялся такой, что о. Никандр погрозился тятеньке отписать.

— Неужели же мы себе самого малого музыкального удовольствия доставить не можем?

А то вот еще один овощ от чресл[53] купеческих.

Стою я как-то у монастырской хлебни.

Вдруг оттуда выскакивает весь в поту молодой чинище громаднейший, на громадных тяжелых, толстых лапах, лет этак семнадцать. Лицо все в прыщах, нос точно чем-то налившийся, маленькие свиные глазки. Руки лопатами. Выскочил, как с угару, тяжело дыша.

— Вот благодарю!.. Утешила меня маменька... Вот благодарю!

— Что это вы? — спрашиваю.

— Ну, монастырь!

— Это вы насчет чего же?

— Как же... Сорок дней окромя квашни ничего не видал!

— Каким образом?

— А вот видите. По нашему обиходу я записал. Меня маменька поймали, на пароход и сюда водворили на сорок дней!

— Квашня же тут при чем?

— Да такая была их просьба к отцу наместнику, чтобы мне дело какое потяжелее. Ну, он и благословил: ступай квашню месить. Так сорок ден и храмов Божьих не видал. Утром, чуть свет, к квашне, от квашни и спать идешь!

— Дурь-то из тебя потом и вышла! — вме-

шался монах. — Приехал, ведь на тебе лица не было. Отек с вина, а теперь умалилось!

— Точно что... сейчас только сорок дней кончилось! Ну, уж я теперь!.. Благодарю вас, маменька... Уж я теперь!..

Только и производили утешительное впечатление богомольцы из крестьян. Эти серьезно молились и отводили душу, находя помощь по вере своей. Особенно один так и врезался в моей памяти. Стоит в соборе на коленях... Ни слова, даже губы молитвы не шепчут. Пристальный взгляд уперся в образ Богоматери и не отрывается от него по часам. В этом взгляде все: и надежда, и скорбь, и радость духовная, и тоска безмерная. Весь человек перешел в глаза. Он не слышит богослужения, в нем самом, очевидно, совершается свое священнодействие, в котором он сам и священник, и богомолец. А то вот целая семья распростерлась и молится... Плачет баба, всем своим нутром плачет. Видимо, настоящее горе, не наше сентиментальное и слащавое, слезами изводится.

Корелы, те и молятся как-то по-своему. Точно по команде взбрасывают руки, отряхи-

вают головы, кланяются в пояс священнику, стадом подходят под благословение, стадом прикладываются к иконам[54]. Бараны за возжакон. Даже в трапезную ползут тем же мерным шагом и тоже стадом. В лес вздумают, непременно целым табуном. Впрочем, когда они попадают в монастырь послушниками [55], у них, Господь уж ведает как и откуда, оказываются способности, и грубый, неуклюжий, аляповатый корел делается ловким, умным и предприимчивым иноком.

Между богомольцами, бывшими при мне, выдавался один особенно. У каждого монаха допрашивался, может ли "самоубивец, и вдруг теперь, в царствие небесное войти"[56]. Никто ему точного ответа дать не мог; только одно и советовали: "Молись преподобным, на милость закона нет". Сунулся он с чего-то и ко мне с тем же вопросом.

— Да что это вас беспокоит так?

— По личной прикосновенности-с!

— А именно?

— Братец у меня были, в мастерах у немца, ну, так они ядом чудесно застрелились. Купили это серничков[57], развели в водке и за-

стрелились... В знак тоски-с!..

А то разлетелся в обитель любитель стройного клирного пения, а на Валааме поют — святых вон выноси. Не до того инокам, не тем заняты.

— Ах, нет у вас паркесного пения![58] — сокрушался духовный меломан[59].

— А зачем нам оное?

— Как зачем... Паркесное пение слуху от-
радно и для души умирительно, горе возно-
сишься и на земле рай всем человекам ощу-
щаешь[60]...

— Не надо нам паркесного пения! — упор-
ствовал о. Никандр.

— Почему не надо?

— Да так!

— Нет, каковой ваш аргумент будет... вы,
впрочем, скажите?

— А так, что не приличествует!

— Паркесное не приличествует?! Ангель-
ские гласы не подлежат вам?

— И не подлежат... Паркесное пение под
скрипку? — озлился о. Никандр.

— Под скрипку точно...

— А где у святых отцов о скрипке значит-

ся? Кимвалы есть, трубы были, арфы, иные прочие мусикийские орудия[61] упоминаются... А скрипка есть?.. Скрипку на иконах изображают?

— Скрипки нет! — озадачился богомолец.

— А нет, так и не надо. Скрипка обители не приличествует... Давид, как по-вашему, на скрипках возвеселял себя... Царя Саула на скрипке утешил[62]?

— Простите, отец Никандр!

— Бог простит! Господь с вами. Наше пение нам к лицу... Монастырь простой, не изглагольный[63], — и пение простое. Надо, чтобы у тебя душа пела... Благочестивые мысли не через пение должны нисходить, а сами... Плохо, коли только пением вера твоя подается, ерживается!.. Паркесным пением инока не создашь...

На праздниках народу здесь "что каша крутая". Голова кругом ходит у о. Никандра, потому что, как гостинник, он пастырь всего этого алчущего и жаждущего стада. Сразу по несколько тысяч приваливают даже и зимою. Так на Благовещение[64] по льду приезжает сюда корел и чухон до 2000. В летние месяцы

из одного Петербурга приплывают по 150 богомольцев каждую неделю. На Преображение [65] из столицы съезжаются 700. В скиту Всех Святых в его храмовой праздник [66] скопляется тысячи по три поклонников. В течение же всего года одних береговых собирается здесь тысяч двенадцать да дальних тысяч восемь. Выработавшихся, традиционных богомольческих типов, которыми так обильны Соловки и богата Киево-Печерская лавра, на Валааме нет. Тут серое крестьянство и питерская мастеровщина. Иной раз в гостиницах обители, несмотря на их поместительность и размеры, бывает так много посетителей, что они спят вповалку, спина к спине, лицо к лицу, точно дрова. Они, впрочем, и не претендуют.

Для Бога! Значит, и потерпеть можно. А тут кстати и пословицы: "в тесноте люди живут", "чем теснее, тем теплее". Между гостями бывают и старообрядцы [67] почитающие если не самый монастырь, то остров, как служивший некогда обителью для чистых светочей древнего благочестья. Беднейшим богомольцам обитель подает иногда сапоги, пла-

тъе, случается, и деньги. Соседям, ладожанам, помогает семенами, сеном, соломою, огородными овощами. Нищета прибрежных крестьян до того поразительна, что в самую крепкую зиму, "не имея почти обуви, в самом ветхом рубище", они пускаются за сто пятьдесят и более верст по озеру, чтобы только познать денька два на монастырском хлебе. Многих из них находят замерзшими "от великой стужи" за версту или две от обители. В монастырь стекаются и за медицинской помощью. Больные золотухой и глазами всего чаще обращаются сюда. Обитель снабжает их лекарствами. Всего беднее народ съезжается на праздник Петра и Павла. Тогда тут слоняется по дворам и монастырю до 4000 человек.

Всем богомольцам Валаамский монастырь ставит в обязанность исполнять следующие правила:

- 1) Без особого благословения не ходить в лес, в пустыни, в скиты, в монастырские кельи. Из живущих в монастыре — никого у себя отнюдь не принимать в келье, им не давать и от них ничего не брать ни под каким предлогом.

2) Не оказывать здесь никому частных благодеяний, а добродетельное свое приношение подавать в общую кружку в пользу святой обители, так как никто из живущих в монастыре не имеет права приобретать отдельную собственность.

3) Письма и посылки в монастырь, на имя проживающих в нем, передавать монастырскому начальству.

4) Не стрелять на острове из огнестрельных орудий, не бить зверей, птиц, не ловить рыбы, не портить леса и не курить табаку.

5) Ничего не писать на стенах и стеклах гостиницы и не бросать огня на удобосгораемые вещи.

— Тоже и богомолец богомольцу рознь! — пояснил мне о. Никандр.

— А что?

— Да так. Иной вот уязвляет кротостью, душевен и благопотребен, а как уедет, вся келья исписана стихом неподобным!

Образцы таких вдохновений я видел. Все они вроде вздыхания:

Я в полиции служил.

Ни копейки не нажил.

Только имя подлеца
Приобрел в поту лица.

"О, Господи! (тою же рукою) Очисти мои
прегрешения!"

— Да, не вовремя вы к нам пожаловали! —
объяснил мне молодой о. Самуил.

— Почему?

— Не теперь надо, а когда нужна[68] кре-
стьянская к нам со всех сторон стекается. То-
гда истинно Валаам во всем своем великоле-
пии красуется. Все это скорбное, немощное,
горем к самой земле прибитое, по единому
слову пастыря, ниц повергается. Тут-то истин-
ному художнику и надлежит быть. Таких сто-
нов не услышишь. Наш мужик не то чтобы
тоске своей волю давал, а тут уж — он ее на
всю вольную волю... Вчуже глядишь на них и
плачешь. Господи, думаешь, велики испыта-
ния Твои, но и награда на небесах, по сим ис-
пытаниям, ждет их не малая. К нам и с боля-
щею совестью притекают. Такие, что ко-
гда-нибудь и душу чужую загубили, те
страсть как молятся и каются. Вдарится оземь
и глаз на святителя поднять не смеет. Испове-
дуется, а от святых тайн отказывается сам.

"Недостойн я еще, не замолил". Просит эпитимий[69] потяжелше. Есть такие, коим заместо эпитимий духовник говорит: "Иди и пострадай, по начальству объявись". Ну, это они свято исполняют. Примирение с совестью обретают в самой лютой муке! А больше приходят о нищете своей перед Господом искать предстательства у святых чудотворцев наших. Мы так замечаем, чем недороднее год, чем крестьяне беднее, тем богомольцев больше... Когда у них все есть, о Боге мало вспоминают... Помощь его в несчастье познается... Это я им не в осуждение, а так, по правде... Тут какое дело было. Мне тоже рассказывали его старики. Один убивец дал обет в каторге, если ему удастся бежать, так беспременно к святителям валаамским сходит поклониться. Ну, они ему помогли...

— Бежать-то с каторги?

— Отчего же. У них свой суд, не земной. Судье небесному виднее, кто чего стоит... Ну, вот-с, удалось ему бежать, добрался до Валаама. Помолился, помолился, а потом взяло его сомнение. Правое ли дело его, хорошо ли поступил, бежамши. И такое у него доверие бы-

ло, что он прямо к отцу Дамаскину. Тот его выслушал. "Приходи, — говорит, — ко мне наутро". А сам стал на молитву, на всю ночь, чтоб умудрил его Господь, как в сем деле поступить. И чем больше молился отец настоятель, тем более в нем жалость к душе болящей и сердцу беспокойному вопияла. Утром его сподвижники наши просветили[70]. Пришел это беглый. Отец Дамаскин и говорит ему: "Ежели молил ты преславных чудотворцев помочь тебе и предприятие свое исполнил успешно, значит, действительно, преподобные оказали тебе свою милость. Значит, не хотели они гибели твоей и, хотя велик твой грех, кровь убиенного вопиет ко Господу, — но надейся! Иди в пустыню, живи со зверьми с лютыми, во всем ограничивай себя, терпи немощь всякую. Зимой не одевайся в меха, летом не ищи прохлады. И вот тебе послушание: десять лет молчи! Что б ни случилось с тобою — молчи!

— А молитва?

— А молись духом, мыслями молись. Устреми глаза на небеса и молись сердцем, чтобы пустыня безмолвная не нарушалась

словом твоим. Живи в бладе и хладе. В пещере не укывайся... А через десять лет, если Господь тебя сохранит, приходи опять сюда...

— И пришел?

— Как же... Ушел молодым, а вернулся седой весь, одичалый. Зимой — грудь у него раскрытая, рубище треплется жалкое. Прямо в собор наш попал. Сам отец Дамаскин служил... Кончилась литургия[71], пошли в трапезу[72]: он на паперти[73] в ноги отцу Дамаскину. Поднял тот его, спрашивает. Молчит, не отвечает. Узнал его наконец игумен... Разрешаю тебе говорить теперь! Примирилась ли совесть твоя? Можешь ли ты о прошлом помыслить без озлобления? Заговорил тот, но только совсем невнятно. Отец Дамаскин из этого и убедился, что послушание исполнено грешником в точности. Вечером он его отысповедывал, всю ночь приказал ему в храме, распростершись ниц, лежать, и чтобы сон не сомкнул ему глаз. А наутро причастил его. Тут точно этому самому грешнику и было видение: убиенный им в райском венце, с ликом светоносным и в одеждах белых, сходит к нему... Пал он на колени — а на лице у того

благость и прощение. Дал ему руку, "пойдем со мною, — говорит, — брат мой... зане[74] испустил ты грех великий!" И в ту же минуту беглый испустил дух свой, вопия: "Иду, Господи, иду!" Вот какие дела у нас случались!

Мы шли в это время по пустынным дворам обители. Тишина их говорила сердцу о чем-то не от мира сего. В окнах келий никого не было видно, звуки наших шагов далеко раздавались, замирая под тяжелыми сводами. Вышли. Голубой пролив синел под солнцем, зеленые крутые берега пристально смотрелись в него, точно разглядывая, какую тайну он схоронил в своих тихих водах.

— Красота нетленная! — загляделся монах.

VII

Пустыня Назарьевская

Тишина моей кельи давила меня. Весь этот монастырь так не похож был на другие, мною виденные, что я еще не мог разобраться со своими впечатлениями... Мысль разбежалась... Во всем окрест меня сказывалось что-то чрезвычайно серьезное, большое: дело творилось тут искреннее, крупное, подвижническое.

— Святый Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас! — стукнул мне кто-то в дверь.

— Пожалуйте!

Румяный молодой монах. Кроткие голубые глаза.

— Простите! Отец настоятель благословил показать вам пустыню Назарьевскую!

— Очень вам благодарен... Сейчас?

— Ежели не очень устали, можете потрудиться во славу Божию!

Мы отправились.

О. Авенир оказался монах, знающий всю подноготную монастыря. Он тут прошел чрез

все послушания и познакомился с делами чудесно. Начиная с хозяйства и кончая подвижничеством, для него ничего сокровенного не было. Только что мы выбрались с ним за ограду, как Валаам передо мною явился в ином свете. Обитель осталась позади. Рабочая община выступала перед нами со всеми ее заботами и земными помыслами. Вон в низине огороды громадные, обставленные глухо шумящими деревьями. Низиной этой они и тянутся на несколько верст, вплоть до салмы. Зелени и овощей всяких не только на год хватает обители, но осенью остатки раздаются беднейшим жителям, которые нарочно для этого съезжаются в монастырь. Вон красивые кирпичные амбары для хлеба, отдельно от других построек на случай пожара.

— Хлеб-то у вас свой или покупной?

— Своего не хватает. Нив у нас мало. Мы полтора ста кулей снимаем со своих полей, а тысячу сто покупать приходится и для себя и для богомольцев. Хлеб у нас не совсем созревает, случается. Наш хлеб маловесен, а в подъеме тяжеловат. Мы его с купленным мешаем. Больше для соломы пашем. Потому что

нам много соломы требуется для подстилки коням. Овса своего снимаем пятьдесят кулей, а двести приходится на стороне скупать.

Вообще все хозяйственные постройки здесь в отличном состоянии. Они не только грандиозны, как в Соловках, но и содержатся щегольски. Можно подумать, что попал к богатому английскому землевладельцу, не жалеющему средств на долговечные здания.

Большая двухэтажная рига с двумя громадными печами для сушки хлеба. Для них экономные монахи рубят пни. Несмотря на обилие леса, его здесь жалеют. Не расходуют попусту. Стволы исключительно идут на постройку, пни на топку. Вырываются даже корни, чтобы они не пропадали даром. Из них гонят смолу. Лесное дело ведется так, что наших лесоводов следовало бы посылать учиться у этих простых, неграмотных крестьян...

— Вон у нас дом, где делают посуду, чашки, тарелки!

— И теперь?

— Нет, гончарят зимою, а теперь там красильня... У нас глины чудесные. Думаем фарфоровое производство заводить. Каолиновые

породы есть.

Дорога в Назарьевскую пустынь шла по чрезвычайно веселой аллее. По сторонам шелестели кудрявые березки. В молодой листве играло солнце. Пропасть всякой мелкой птицы орало в чаще, перекликаясь со стаями, налетавшими на огородную низину. Величавые, красивые сосны слегка покачивали свои вершины, словно укоряя молодые березки в легкомыслии и шаловливости... Мягкая трава струи...^{1}

Кое-где лепные детали видны, не уступающие в отделке и красоте своей резному иконостасу. Вышли из церкви. Паперть на высоте. Крутой спуск, по которому сбегает в низину гуща пышных сибирских кедров. У самого храма уже приготовлена могила для о. Дамаскина. Ею начнется новое кладбище, так как старое совсем заполнилось. Тесно на нем лежать усопшим.

Большой холм для здешней церкви, весь насыпной, требовал труда египетского. Обрыв вниз для прочности обшит гранитом. С одной стороны обрыва большая нежно-зеленая по-

ляна; там тоже будет кладбище...

Я взошел на колокольню — точно плывешь над лесными верхушками. Теплый ветер дышит в лицо свежестью и ароматом. Не ушел бы отсюда.

— Не верится, что на севере!

— Погодите, вы у нас еще и не то увидите, спаси Господи! Все это от Назария пошло, а в отце Дамаскине обитель своего Петра Великого обрела. Сейчас пойдем в келью Назарьевскую. Здесь у него пустынька была чудесная. Скучная строением, но местоположением дивно-прелестная. До Назария монастырь был деревянный, он весь из камня его поставил. Где Бог, там и вся благая!

Маленький домик, в нем убогая келья. Портрет игумена Назария: изнеможенное лицо с зоркими глазами. Энергический склад губ — работник в каждой черте лица виден. Здесь, в пустыне, он жил на покое, потрудившись достаточно в пользу обители. Ради отдыха он собирал различные окаменелости и минералы оригинального вида, которыми здесь завалена целая стена.

— Некоторые иноки полагают, что это

ступня древнего человека! — показал мне отец Пимен на окаменелость, действительно имеющую вид ступни.

Тут же колодезь высечен в скале и обшит гранитом. Крутом принялись и колышутся серебристые тополи.

— Они здесь быстро растут. Точно нарочито для них и место, спаси Господи, уготовано!

— А эта аллея куда ведет? — указываю я на ряд пышных вязов и ильм.

— Так разбито!

О. Назарий именно был тем малоумным глупцом, которого настоятель Саровский не хотел отпускать из своей пустыни. Обитель валаамскую он принял впусе, а оставил ее благоустроенной и обильной. Число иноков при нем возросло до 55, а при Дамаскине до 300. До Назария монастырь был почти без братства. Назарием же были привлечены сюда и трудники — добровольные рабочие по обету.

— Он у нас и устав положил, как быть и управляться нам!

— Устав у вас тот же, что и у саровцев?

— Да, только с вечевым оттенком. Старь

новгородская сказывается. Так, например, у нас игумен не смиряет непокорного наедине, а перед братией: о всех делах совещається с братией же и без нее ничего не предпринимает. У нас и права свои есть: ежели заметим, что настоятель разоряет устав и вводит соблазн, то, сойдясь о Христе, мы советуемся и затем идем к настоятелю... Там, предложив ему об упущениях, должны сделать, несколько "не стыдясь, увещание об исправлении". Если же он не примет совета, то мы просим избрать другого из братства!

— Случалось ли это до сих пор когда-нибудь?

— Нет, слава Богу... Наши преподобные не оставляют своим руководством настоятеля [75]. До сих пор игумены у нас были знаменитые. Таких поискать, не найдешь... У нас вообще устав строгий! Мы не можем, например, пищу употреблять вне общей трапезы, а за трапезой, кто пожелает воздержаться, то, не вводя братию в соблазн, должен спросить настоятеля!

— Зачем же? Если я есть не хочу?

— А для того, чтобы все совершалось во

спасение души, а не по бесовскому коварству. В повечерии мы не должны беседовать друг с другом. Нам воспрещается принимать у себя в келии кого бы то ни было, особливо же мирских людей! Письма писать без благословения настоятельского мы тоже не можем. Кто произнесет душевредное слово, того мы обличаем. В лес гулять — нельзя!

— Строго. Многие не вынесли бы этого!

— Потому мы принимаем сначала на испытание... На три года!

— Ну, а если монах вздумает оставить обитель?

— Не токмо монаха, но и послушника мы обязаны посему увещевать, ежели он помыслит по какой-либо скорби разуказиться!

— Это еще что?

— Совлечь с себя звание иноческое!

— Ну, а если он не послушает?

— Устав предписывает непокоряющегося отпускать, не дав ему мира, как мытарю и язычнику, яко уподобившемуся Иуде предателю[76]. Потому, кто раз отвергнулся себе, и взял крест свой, и по Христу пошел, тому назад возврата нет. Исаия пророк[77] вопиет:

"Изыдите от среды его и нечистотам не прикасайтесь", и Иеремия[78]' о том же: "Бежите от скверны Вавилона". У Давида такожде обрящете: "Се удалихся, бегая, и водворихся в пустыню, яко видел беззаконие и пререкание в граде день и ночь".

Строгий устав Соловецкого монастыря, сравнительно с этим, куда же! На Валаам, случалось, бегали с Афона[79], находя устав и обычаи последнего недостаточно суровыми... Чисто гроб. Уложат, забьют крышку, и с последним ударом молотка в последний гвоздь ты уж знаешь, что тебе возврата нет. Как ни стони, как ни бейся под тяжелой насыпью могилы, никто не отзовется тебе... Страшная жизнь — удивительные люди!

Воскресив древний Валаам, о. Назарий замыслил развить деятельность монастыря несколько шире. Он избрал десять лучших монахов для проповеди христианства в русско-американских владениях, покровительствовал подвижничеству и устройению скитов вне своей обители. С 1801 года он удалился от дел и в полном безмолвии провел три года, а затем уехал в Саровскую пустынь, где отли-

чался даром прозорливости. Личность его с этого времени становится, по рассказам монахов, легендарной. Он, не ведая греческого языка, поясняет, как нужно переводить книгу "Добротолубие"[80], с одного взгляда узнает, без помощи медиумов, мысли приходивших к нему посетителей; в дремучих лесах Саровских непросвещенные медведи, встречая старца, обходятся с ним почтительно; наконец, Назарий является в роли пророка. Вот что рассказывает об этом иеромонах Илларион: в царствование Екатерины II близ Петербурга происходило морское сражение со шведами. Все были в крайнем страхе, а митрополит Гавриил до того перепугался, что заперся в своей келье. В это самое время является к нему игумен Назарий.

— Доложи владыке обо мне! — приказывает он келейнику.

— Да владыка никого к себе не допускает!

— Меня не надо ему принимать. Я просто подойду к нему, и хоть ему до меня дела нет, да мне до него есть дело!

Видя, что старец попался неговорчивый, келейник отступился. Назарий является к

владыке и предвещает ему победу. Гавриил усомнился было, но Назарий подводит его к окну и показывает в стороне к морю восходящие, на светлых облаках, в небеса души воинов. Гавриил ободрился сам и тотчас же написал об этом Екатерине. Когда предсказания Назария оправдались, императрица приняла его у себя и милостиво с ним беседовала.

При Александре I какой-то сановник К. «подпал царской немилости». Жена его бросилась к Назарию, умоляя его молиться о спасении мужа.

— Очень хорошо, только надо попросить о сем царских приближенных!

— Мы уже всех просили, да мало надежды!

— Ты не к тем обращалась, дай-ка мне денег, я сам попрошу, кого знаю!

Барыня дает ему горсть золота.

— Эти мне не годятся; нет ли меди или серебряной мелочи?

Получив их, Назарий целый день раздавал нищим милостыню, затем возвратился к опальному сановнику.

— Ну, слава Богу, обещали, все приближенные царские за вас!

Вслед за тем приходит весть о благополучном окончании дела.

— Кто эти приближенные, просившие за нас? — спрашивают его.

— Царские...

— Да они все отказали нам...

— Да, то приближенные земного царя, а я обращался к сановникам царя небесного — к нищим!

VIII

Пустыня схимонаха Николая

Веселая чаща молодых дубков... Лет семь, как разведена, а солнце уже весело играет в свежей зелени, и золотые брызги его с приветливо колышущихся ветвей скатываются вниз в густую траву. Какие-то простенькие цветы наивно улыбались по всему пути, покорно подставляя нам под ноги бедные, благоухающие головки. Порою ветки задевали наши лица, тихо и мягко, точно ласкали их... Все дышало покоем и миром в глухом уголке. С неба, из лесу, из оврагов — отовсюду веяло благоговейною тишиною... Здесь, действительно, хорошо молиться, и молиться не по уставу, а тою сердечною молитвой, о которой повествует Ефрем Сирин[81]. Дубы покончились — величавые сосны шумят высоко вверху... Поросль глуше и диче, даже дорога поросла травой. Одинокая могила...

— Схимонах Николай схоронен здесь... Ученик Назария. Тут и пустынь его около.

— Чем же он замечателен был?

— Простотой своей... Не было для него ни

высоких, ни малых. Все мы равны перед Господом, говаривал покойник. Забрался он в глушь лесную, когда еще сюда и дороги не было, и так наедине с природой до самой смерти своей выжил...

— Без посетителей?

— Не нуждался он. Со мною, говаривал, всякое деревцо беседует, всякая травка мне сказки рассказывает. Ветерок с поля пролетит — о том, что в поле деется, поведает, ключ овражный про недра горные, откуда истек он. У меня собеседников много.

Вот и жильё его. Сруб, весь заплесневелый, вроде плохой крестьянской баньки. В келью нужно почти вползать. Дверь узка и низка. В углу кое-как печка сложена, у печки нара малая... Стол, стул твердый — да больше и поместить нечего... Безлюдье кругом. Вображаю, как тут жилось в этой глуши лесной одинокому, особенно в темные ночи, когда тысячеглазая тьма смотрела в эту убогую лачугу сквозь одинокое скупое оконце.

— Я из мещан ведь, — говаривал схимонах Николай. — К суете и прелести[82] мирской не привык, мне и тут хорошо!..

Бесы, случалось, смущали старца. Больному воображению чудились их голоса в звуках метелей и бурь, ломавших вокруг его избенки вековые сосны. Кто-то стучался к нему в окно и смолкал, только когда старик становился на молитву, призывая в эту "дивную" глушь Бога живого. Воскресал он и расточал врази Его [83]... И снова холодная мертвая тишина царила кругом, такая тишина, что звуки, рождавшиеся в утомленных слуховых нервах, призраки звуков, казались громкими и говорили душе.

Александр I посещал старика.

Николай сорвал ему репу со своего огорода.

— А ножика я тебе не дам. Нет у меня — ешь так!

— Ничего, я солдат! — улыбнулся император. Теперь над этой пустынькой сделали навес. Иначе она бы развалилась вся...

Уголок монастырского хозяйства

Тихо шли мы назад, любуясь то на живописные рощи, то на скалы, неожиданно громоздившиеся по сторонам. Несколько раз на поворотах пути перед нами раскидывались голубые заливы, по которым сегодня не бежала ни одна рябинка. Море застоялось, словно зеркало, отражая одинокую тучку, которой, должно быть, надоело тянуться по голубому небу, она и замерла на нем, мало-помалу тая в тепле и свете яркого полудня...

— Вот, видите, — указал мне монах, — рядом с пустынями, где страдала и билась душа человеческая, обретая в подвижничестве утешение, мы построили дворцы!

Перед нами вдали, действительно, громадное, кирпичное строение. Оно было настолько высоко, что давило ближайшие кельи обитали.

— Вы как думаете, что это?

— Не знаю!

— Конюшни!

— Однако!.. Вывели же!

— Монашеское ли дело? Разумеется, кто, отрицая иночество, признает еще обители как рабочие общины, — уязвил меня о. Пимен, — тому все это должно казаться прекрасным; Ну, а мне, как хотите, противно. О древнем Валааме помышляю. Богатство обители еще может проявляться в украшениях храма Божьего, а не в этих столпотворениях вавилонских[84] Помните это: кая польза человеку, аще весь мир приобретает, душу же свою отщетит?[85]

По прочному накату мы взошли наверх. Второй этаж конюшен весь был занят сеновалом. Душистый запах свежей травы стоял здесь, зеленые груды ее были навалены по всем углам. Внизу помещались самые конюшни. В сеновале прорезаны в полу отверстия, в них вставлены рамы, сквозь которые трава прямо сбрасывается в ясли лошадям. Устройство чрезвычайно простое и остроумное. Из сеновала выход в большой сарай для саней, которые нагромождены чуть ли не до потолка. Даже непонятно, кому нужно столько.

Лошадей здесь сорок семь. Конюшнями заведует иеромонах о. Павел, бывший некогда

барышником[86] в Петербурге. Мы спустились вниз, в его царство, по узкой витой лестнице, которая шла туда из сеновала.

— Тесен путь, вводяй в живот[87]! — улыбался сопровождавший нас монах.

Лошади внизу — в обширнейшем помещении. Они ходят по воле. Травы вдоволь — коньки смотрят весело. Сытенькие, крепкие. Отдыхают день, другой работают, да и то с прохладой, не через меру. Я подошел к окну и изумился. Здание действительно выведено на образец. У нас в Петербурге и домов таких не строят. Толщина стен равняется двум аршинам внизу, вверху полуторам. Не успели мы добраться до середины конюшни, как кони сбежались к нам отовсюду, ласково протягивая мохнатые морды прямо под руку.

— Тпру, тпру!.. Ишь, шельмы, это они за хлебом. Приучили их, они ко всем и тычутся!

Тут четыре отделения для коней — по возрастам и по характерам. Есть между ними доморощенные; эти чуть ли не лучше остальных. Обитель имеет и конский завод в сорока верстах отсюда. Судя по этой конюшне, лошади у монахов содержатся превосходно. Полы

чисты, кони — как стеклышко; даже в стойлах, где они есть, опрятно.

— Вот у нас красавец! — показал мне о. Павел чудесного коня, могучие стати которого так и бросались в глаза.

— Это тяжелоподъемный. Камни из земли выворачивает!

— Надорвется!

— Нет, испытанный. У нас много таких, что двести пуд легко снимают с места. Лошадь, что и человек, ухода за собой требует. Корми вовремя, а главное — будь с ней ласков, говори побольше!

— Как, говори?

— Животная разговор любит. Как войдешь, сейчас тебе в глаза смотрит. Коли ты с ей приветливо здороваешься там, что ли, — она на весь день весела, душа в ей спокойна; и за работой, коли кучер молчит, — и конек уши свесит и через пень-колоду. А если кучер начнет с ей беседовать, она куда лучше. И не устанет так, потому работа для нее тогда куда занимательней выходит!

— Блажен, иже и скоты милует!..[88] — вздохнул монах рядом.

Отец Павел обиделся.

— Лошадь — не скот!

— А что?

— Лошадь — животная. Корова, баран, коза — скот, а конь — животная!

— Все одно!

— У коня дух есть... Он все понимать может, только что слов ему не дано. А то он все это чудесно. Вот это — скот! — отворил он нам коровник... Перед нами были представители известной безрогой породы, которых я нигде после Валаама не встречал.

Сотрудники у о. Павла — мальчишки-коре-лы. Их по всему монастырю многое множество. Монахи с ними очень ласковы, хотя на их обучение обращают мало внимания. Детей тут работает по обетам родителей более полутора, я думаю, а школа всего на тридцать. Я спросил, почему это, и получил чисто монашеский ответ.

— В мирской науке спасения нет, а божественному он и в храме Божьем научится.

Детей тут иначе не называют монахи, как брат Петр, брат Степан, брат Григорий. Братья этим чрезвычайно гордятся, ибо это их ставит

выше возраста. Обращаются с ними примерно. Я бы посоветовал и другим обителям позаимствоваться у Валаама.

Корелы-мальчики совсем не похожи на взрослых корел. Они очень сметливы, восприимчивы и разговорчивы. Детская душа, как цветок теплу, открывается ласковому слову. Мелюзга на взрослых и грузных иеромонахов смотрит как на родных. Возвращаясь домой, мальчонко рассказами поддерживает престиж обители и только и мечтает, как бы отправиться назад, на Валаам, сначала вольным трудником, а потом принять рясофор[89]. Мальчики-финны несколько потупее и несообщительнее корел, но и те на второй год своего пребывания здесь отогреваются и не смотрят уже замороженными зверенышами и дичками...

— Хорошо в обители? — спрашиваю я у одного кореляка-мальчуги.

— Ах, как дивно!.. Век бы тут остаться!

Х

Трапезная

— Дух-то, я вижу, у вас бодр! — входит ко мне о. Никандр.

— А что?

— А плоть все же по человечеству немощна; питать ее следует, плоть-то. Это я насчет нашей трапезы. Не угодно ли будет от скудости монастырской поснедать чего? Или вам сюда в келию подать?

— Нет, мне интересно вашу трапезу поглядеть!

— У нас трапеза бедная... В других монастырях она украшена искусным писанием, а у нас так, скудная, простецкая... Мужичья. Мы мужики, и трапеза у нас мужичья. Чернеть [90] у нас... Какие еще для нее узоры!

Действительно, мужики, мужичье царство. Кроме о. Пимена, кончившего университет, почти все остальное крестьянство. И строители, и уставщики, и архитекторы, и механики, все вышли из "чернети", как выразился о. Никандр. И по типу валаамский инок совершенно мужик мужиком. Худощавых мо-



Трапеза.

нахов с аскетической, византийской складкой весьма мало; все больше Микулы Селяниновичи — земские богатыри. Руки крепкие, тело сильное, глаза упорные. Ходят с перевалочкой, клобук никак не хочет сидеть над самою бровью, а все больше то на затылок, то набекрень сползает. Толстые солдатского сукна рясы с подвороченными подолами, как у прачек, чтоб не мешали ходить и работать. Шутка добродушна, когда расшутятся. К сожалению, на всем и на всех лежит печать суровой дисциплины, введенной о. Дамаскином. Говорят с оглядкой — как бы кто не подслушал, а с проезжим человеком и вовсе опасаются. По уставу, видите ли, нельзя. Только на работах между собою и отводят душу. Тут, сидя за камнями, которые надо оттесать, или

меся глину, совершенно забываются черная ряса и монашеский клобук. Лицо в поту, пыль и оттески слоem ложатся на руки, солнце сверху так и палит, клобук съехал на затылок и держится только каким-то чудом. Молотки крутом стучат, пилы заводят визгливую жалобу, откуда-то доносится песня наемных рабочих, — ну, и совсем из глаз уходят монастырские стены да затворы. Старое, как в сказке, идет навстречу, и еще вчера молчаливый, сдержанный инок начинает, вопреки уставам и воспрещениям о. Дамаскина, болтать вовсю, перекидываться с соседом веселою шуткой. А тут еще зеленое царство кругом. Каждый лист молодой, точно дождем обмыт, так и светится под солнцем; небо чистое, вода внизу такая же, как в чашке, не шелокнетса. Глядишь — какой-нибудь о. Дамиан и затынет вдруг:

— Ох, и у нас ли во Новегороде!..

— Ох, и у нас ли улица светла! — отвечает сосед рядом.

Только бы разгореться песне под стук молотков, да под говор топориков, доносящийся откуда-то из лесу, а тут вдруг:

— Отцы! Что же это? — вмешивается монах, совсем уже закостеневший.

С усилием сбрасывают иноки внезапно налетевшие впечатления... И вместо светлой улицы, по которой добрый молодец идет, гнусливо затягивается "Свете тихий"[91].

О. Авенир встретил меня у входа в гостиницу.

— А я за вами!

— Куда?

— В трапезную пожалуйста...

— Да вот уж меня отец Никандр ведет!

— Ну, и чудесно... Сегодня у нас рыбка своя. Не покупаем на стороне, все матушка Ладога дает... Ныне у нас большой дород на рыбку. Милостива рыбка ныне. Хорошие ловы бывали!

— У нас, чтоб больших ловов, нет, артелью не ловим. А так старым да хилым монахам, которые на постройках не могут, отец наместник благословляет потрудиться обители, половить рыбки!

Мрачная, большая, зеленая под белым сводом трапезная. По стенам во весь рост фигуры святых старого письма. Никаких священных

картин, как в Соловках и других монастырях. Здесь фантазии места нет. Она не допускается нигде и ни в чем. Тоже чисто крестьянская черта... Изображать святого, так уж изображать во весь рост, и в одиночку. "А то, что кругом-то картины рисовать, чувство, глядя на них, отвлекается".

— Почему же отвлекается?

— А как иначе? Смотришь на дерево — ишь, дерево какое, — на воду — хороша-де вода, а святого-то и обидел, взгляд от него отвратил!

Тут святых не обидишь, потому что кроме этих сухих черных фигур со свитками ничего другого нет. Стены трапезы — крепостные. Я думаю, сажень или полторы толщиной. Не расшибешь. В старое время строены, когда еще и труд, и материал были дешевы.

— Оне у нас против прочих впятеро выживают! — хвалятся монахи.

Кирпич в этих стенах сварился. Если бы пришлось снести их, так разве порохом, как скалы, на которых они построены.

Трапеза в монастырях целое священнодействие. Прислуживают монахи — каждый раз

по особому назначению, причем это считается обязанностью всех рясофоров. Случается, что за наказание или для смирения перевозно-сящегося заставляют подавать и иеромонаха. При этом, по наставлению игумена о. Назария, на свое дело следует смотреть так:

"Ежели братьям за трапезою во услужении устроен будеши, то предстани со всяким благоговением, и страхом, и радостью. Служи совершенно, аки самому Христу и ангелам его, а не так, как человекам. Имей сердце, око и лицо веселое, служи без всякого лицемерия. Расположи себя так, чтобы ты от всего сердца мог сказать внутренно: "Я не токмо недостоин сидети со братиею на трапезе, но недостоин и служити им, и ниже воззрети на них достоин, — если бы к сему не устроила меня милость Божия"".

Тем не менее, хотя мальчик, подававший, например, нам с приговором: "кушайте во славу Божию", наверно, благоговения духовного исполнен не был и нас за ангелов не считал, но зато око и лицо имел веселые и улыбался, точно увидев родных.

Прямо передо мною стол с иеромонахами.

Вот сидит их несколько: отекающие, лица болезненные — видимо, отцы к водяной приближаются. Однообразные, черные грубые рясы, черные кожаные поясы. Запах прели стоит над трапезой — часть братии прямо с работы, общее безмолвие...

Мертвое молчание длилось минут десять, затем в дверях показался о. наместник с очередным служившим сегодня в соборе иеромонахом. Спели "глас", и о. Афанасий благословил начинать кушать. Поднялся сдержанный шум ложек, который не мешал чтецу протяжно и, очевидно, без всяких знаков препинания выкрикивать на всю трапезную деяния апостольские.

Соленые сиги на первое, капуста с мелкой рыбой на второе. Третье кушанье — суп перловый с рыбой, на четвертое — гречневая каша. Опять-таки чисто крестьянский стол. Со всем не те трапезы, которыми угощают другие обители...

Мальчики, прислуживавшие нам, видимо, дрессированные — удивительно быстро сменяли оловянные миски с варевом. Нигде не видал я таких волос, как в трапезной Валаа-

ма. У многих послушников это были какие-то густые, никакому гребню не поддававшиеся волнистые гривы. Они не лежат, а стоят копной.

В мире двух таких только знавал: поэта Коринфского и художника Карелина[92].

— Как бы сияние! — пояснил рядом сидевший монах.

Пояснил и запнулся... Забыл, видно, что за трапезой говорить запрещается вовсе. Потом я как-то спрашивал об этом.

— О сем точно в наставлении Назариином сказано! — пояснили мне.

— Что же сказано-то?

— А что ежели удостоят тебя сидети со всеми вместе на трапезе, то помышляй в себе: "Кто есмь аз недостойный, который вшел сюда, и како со святыми отцы хощу имети участие в трапезе? Сидя, имей страх и стыдение перед братией, как бы ты пред царьми и князи сидел. Не озирайся и не любопытствуй..."

— Однако много надо, чтобы все исполнить в точности!

— А как же. Вы по своему светскому легкомумию дерзновенно мните: не трудно быть и

иноком!.. Нет! Это не то, что надел рясу да клобук и ходи вольно. Нет, у нас опасно ходить надо. Нам и есть-то как приходится — вот что в наставлениях старца сказано: смешивай языком молитву с пищею, т. е. имей пищу в устах, молитвой растворенную.

Еще одна особенная черта Валаамской обители. В Соловках, Троице-Сергии, Юрьевском, Святых Горах[93] — всюду, где я ни был, дамы допускаются к участию в братской трапезе. Здесь для них накрывается особо в гостинице. О. Никандр сам следит за порядком дамской трапезы. Чуть богомолицы разболтаются, он тут как тут.

— Потихе, потихе, не мелите черта языком. В кое место попали, неразумные... Слушайте чтеца!

И барыни смиренно повинуются кривому монаху.

— Куда мы сегодня? — шепотом спрашиваю я у о. Авенира.

— Надо у отца наместника спросить, куда благословит!

— Да ведь разрешил везде!

— Все же на всякий раз надо и еще спра-

шивать!

Просто душно становилось от этой дисциплины.

Кончили, наконец, и встали. Я ни в одном из монастырей не видал, чтобы братия так низко кланялась. Один перед другим чуть земли не касаются, а говоря с настоятелем, падают к ногам его ниц, — обычай, тоже, кажется, введенный недавно. Трапезы здесь иногда оканчиваются совершенно неожиданно. Пообедав, настоятель встает и приглашает всю братию идти работать на огороды. От этого не имеют права отказываться и присутствующие на трапезе богомольцы. С настоятелем во главе отправляются в низины, где преимущественно разводится всякая овощь. Копают гряды или собирают картофель, смотря по времени года. Работа продолжается до ужина. То же самое и с сенокосом. По приглашению в трапезе, вся братия берет косы и грабли. Работники косят, а братия убирает, сушит и в зарод кладет. Есть и из братии старцы, "которые по смирению своему" тоже за косы берутся и соединяются с рабочими. Покосы продолжаются две недели, от Петрова

дня до 15 июля[94], а иногда и до 20-го. В это время к 12 часам стараются покончить трапезу, и с полудня до 9 или 10 братия работает "неустанно".

Когда я уходил из трапезной, ко мне уточкой подобрался монах. Бочком, бочком. Переваливаясь. Грузный, нос кверху пуговкой, клубук на левую сторону съехал.

— В других обителях бывали?

— Был...

— Там лучше!

— Почему же?

— Сердце веселится. По стенам изображения... А у нас все черноризцы да черноризцы... Здесь и богомолец какой!.. Редко когда господин, а то все больше мещанин, купец либо мастеровой. Поглядеть не на кого... Строгая наша обитель против других!

— Точно, строгая...

— Строгая, строгая... Такой обители на свете нет! — убежденно окончил он.

— Ну, уж и на свете!

— Нет. Уж я вам верно... И монахов таких, как наши, нет и не будет. Потому мы водки не пьем, табаку не курим. Никакой радости у

нас. Чаем, и то не всем благословляет настоя-
тель отрадиться![95]. А как кому по его мыс-
лям надлежит. И словесности нам не положе-
но... В безмолвии больше...

Гавань, проливы и плесы. — Как Бог купца убил спичкой

Монахи — большие художники в понимании природы. На дальнем ли севере или в Крыму, все равно, выбрали красивейшие местности и на этих красивейших местностях заняли самые видные места. Это, разумеется, относится и к валаамским старцам. На их островах скиты и пустыни поставлены именно так, что не оторвешь взгляда. Оттого здесь каждое, незначительное, учреждение так сильно запечатлевается в памяти. Передо мною, по крайней мере, до сих пор, словно въявь, рисуются во всей своей красоте то сумрачные и дикие, то мягкие и идиллические картины, окружающие Валаам.

— Сегодня мы с вами на наши работы поедем! — встретил меня о. Авенир.

— А что?

— Да наместник благословил!

Идти сначала пришлось к гавани и там уже взять лодку.

Гавань (этим громким именем окрещена

здесь пристань), заставленная амбарами для снастей и лодок, устроена недурно. Маленький пароходик точно заснул около. Солнце ослепительно блестит на ярко выполированных металлических частях его. У самой трубы свернулся кот и тоже спит себе.

— Это у нас почтовый пароход. Между всеми сорока двумя островами нашими сообщение содержит. Не глядите, что он махонький, большую силу в себе имеет. Сколько он перетаскал сойминок, страсть! Маленькая собака, а больших дураков за собой водит!

Из каюты выполз какой-то кудлатый, седой монах. Позевал, позевал на солнце, на меня взглянул и зевнул еще откровеннее.

— Машинист наш, — отрекомендовал его о. Авенир. — Всякую пружину понимать может. Он и в Питере был тоже по этой части, только у него жена померла. Ну, он к нам, а дочь постриг в женский монастырь. Так, как вам наш пароход?

— Хорош!

— Вот, вот! А главное, свой. У нас и шкипарь[96] есть. Он из корелов, только в монастыре образовался!

Несколько больших монастырских лодок тут же сохнут под солнцем, так что смола на дне даже пузырится от жара. В каждой из таких лодок смело поместится по пятидесяти человек. Лодки служат для богомольцев. Когда наместник благословит, возят их по салнам и тихим водам Валаама в скиты, где устав менее суров и посещение мирских людей допускается. Иной раз монахи вместе с богомольцами священную песнь затянут и плывут так по раздольям и затишьям этого очаровательного уголка.

— Одного генерала мы возили тут. С белой кавалерией на шее генерал-то[97]. Он нам и говорит: "Много, отцы святые, я стран разорил и под нозе покорил[98], такой еще не видал!.. Очень место способное, только одно в нем не хорошо: коли бы вас всех святых отцов в солдаты поворотить, так негде настоящего ученья сделать". Плацу хорошего нет! Чудной генерал был!

— А что?

— А все места пробовал, откликнется ли ему, и все на ружейные приемы. "На краул! — кричит. — К но-ге!"... Уж мы дивовались. Та-

кой, а поди-ко, страны тоже разорят!

Амбар над водой залива на сваях выставлен. В него ведет канал к внутреннему бассейну, где под навесом хранятся еще более крупные лодки. Наверное, на таких новгородские ушкуйники[99] впервые пробирались в заповедные дебри и неизведанную глушь тогда еще чудского Валаама.

Навстречу нам ползет монах весь в белом, и скуфейка на нем белая.

— Ты куда, отец Анемподист?

— Благословленную рыбку ловить!

— На всю, значит, ночь?

— Должно быть что. Ночь сегодня будет способная, ишь, мошкара по воде как разыгралась... Рыбка вся кверху поднимется. Ну а тут мы ее. Божью, на крюк... Ступай, праведная, попитай-ко грешные тела монашеские. А что изо всей рыбы — сиг самый праведный!

— Почему это?

— Так его Господь устроил... Другая рыбка лукавая, норовит бочком наживку снять; ну, а сиг верный; он этого коварства не любит, прямо на крюк идет, без хитрости!

И белый монах, засев в крошечную лодку,

заработал веслами.

Залив мерцает и светится. В каждой рябинке отразилось солнце. Миллионы маленьких солнц, таким образом, зыблются и вздрагивают внизу. Напротив зеленые берега... На лево одинокая, точно заснула, двухмачтовая шкуна. Совсем бы мертвой казалась, если бы на нос ей не взобрался пес и не начал неистово лаять на белого монаха, который в своем жалком челноке уже проплывал мимо... Куда ни взглянешь, все дышит миром и спокойствием нерушимыми. Даже мрачные скалы, отвесно обрушивающиеся в залив, точно побелели под этим солнцем. Вечером в тени они покажутся совсем черными. Цепкая поросль попробовала было спуститься по ним сверху до воды, да не к чему ей прицепиться, и повисла она длинными зелеными змеями внизу. Ветер подымается, и зеленые змеи шуршат по гладкому, точно полированному утесу. А у самой воды и такой колышущейся зелени нет. Вон камень, по которому из-под воды идет широкая, черная трещина...

— Этой щели монашек один повелел быть. С промысла он ехал, да ветром его челнок уда-

рило в камень. А монашек-то праведной жизни был. "Будь же ты проклят!" — озлобился он на камень, ну, и в ту же минуту камень треснул. А сказывают, ноне чудесов нет. Как нет чудесов, помилуйте, на всяком месте сколько хошь их... Вот вы слышали про купца Ерофеева?

— Нет!

— Помилуйте. Его по здешним местам все знали... Так его Бог спичкой убил. Серничком простым!

— Как же это так?

— А так, что Бог все может. И покарал Он купца этого вот за что... Поставлял купец муку в нашу обитель. Пришло дело к расчету. Сердобольский строитель платил ему деньги. А Ерофеев и заспорь, мне-де больше следует. Слово за слово... Стал он из себя неудобопотребные речи испущать. Ну, тогда отец Иоиль и говорит ему: побожись. А Ерофеев трубку закуривал и серничками чиркал по стене. "С полным удовольствием! — отвечает. — Лопни глаза мои!" И в тую ж сикунт шляпочка от серничка отлетела, да в око ему. Завыл и сознался он, что хотел обмануть отца Иоиля. И

столь последовало для него сие зловредно и несносно, что в скорости у купца и глаз этот вытек. Помираючи, он признался, что это его Господь за святую обитель серничком убил! А говорят, чудесов нет; не внимаем мы только; их про всякий час довольно. У Бога, брат, силы много. Эй, брат Виктор, отлей-ко воду из лодочки!

Брат Виктор, монастырский трудник из корел, захлопотал, поблескивая на солнце обильными золотистыми волосами, красоте и густоте которых позавидовала бы любая кауряя иностранка[100]. Впрочем, так оно раз и случилось.

— Вот волосы-то, — говорю о. Авениру.

— Да... Здесь одна барыня была, а у нас есть трудник, тоже из корел, брат Симеон. У него волосы длинные, и еще лучше этих. Барыня к нему и пристань: продай да продай! На шильон ей, видите ли, понадобилось. Ну, он за пятьдесят серебра остригся и деньги по своему усердию в обитель отдал. Оне ведь, эти дамы, глупые. Чужое-то на себя наденут, да и красуются. Для обмана одного живут. С тое самое поры, как мы из-за них раю лиши-

лись, никакой перемены; каждого привлекательного змия слушают, а к правде глухи!

Мы тихо поплыли по проливу, отделяющему собственно Валаам от других островов. Свежий лес молчаливо дремал по берегам; хорошо ему заснулось под этим солнцем, так что и просыпаться не хочется. Как-то ветерок хотел его разбудить, добежал до листвы, да, верно, и на него повлияла эта дрема, упал в зеленую траву, всколыхнул ее и заснул тоже. Кудрявые березы вперемежку с соснами. Береза любит сосну и не терпит ели. Где ель подымается, там береза захудает, а с сосной уживается в добром соседстве.

— Оленев тут у нас зимою!

— Что? — очнулся я, уже почти погрузившийся в полудремоту.

— Оленев бывает много. Осенью ходят трудно. Юровья[101] штук по семнадцати. Чувствует зверь, что ему милость, ну, и ходит весело. Не бьют его, не стреляют. У нас по всем островам нельзя ни из ружья, ни в силки, ни иным каким хитрым способом уловлять ни птицы, ни зверя. Ходи и летай без запрету. Олень, иной раз так случается, к мона-

ху подходит. К мирскому ни за что, но к монаху с полным удовольствием. Знает, что это — инок и ему друг.

Вот мостик прекинулся через пролив. У мостика часовня Божьей Матери Владимирской[102]... От этого и пролив называется Владимирским. Он отсюда то расширяется в плесы, то суживается... В плесах вода спокойна, как безоблачное небо. Разве рыба шелохнется или с дерева лист упадет, так круг побежит по неподвижному озеру. И лист-то едва-едва тянется. Течения не заметно. Зато в узинах вода бежит яро, наполняя зеленую пустыню своим меланхолическим рокотом. Плесы кое-где проросли осокой. Водяные пауки пузырятся в ней. Из-за зарослей выглянет порою удивленная гагара... Вон направо заводье: всполошились и разорались там дикие утки. Сюда бы пустить охотника! Вот бы натешился.

— Птице милость, а рыбе милостев мало. Мы по этим плесам неводом ее таскаем. Щуки попадаются здоровые. Вы как думаете, щука... Она молодых утят таскает... Поплывут они, а она снизу-то их за ноги цап, да на дно. Тут щуки по полупуду есть. Раз что смеху было. Щу-

ка-то большую утку захватила. То утка подыметя вверх и щуку из воды тянет, то щука ее с головой окунет. Орала, орала утка, все же потопла.

— Откуда эти дубки у вас?

По всему пути они. Молодые, свежие, хорошо принявшиеся.

— А из Назарьевской пустыни, где мы с вами были, пересаживаем их сюда под солнце. Здесь солнце пуще греет, а дубку это первое удовольствие, он и расправляет руки и в рост идет лучше!

В одном месте пролив сузился так, что вершины сосен с противоположных берегов соединились над нами. По этой лесной темени и проплыли мы, пока солнце за поворот не блеснуло вволю.

— Вот крылостные[103] за грибами пошли!

— Тоже послушание?

— А как иначе. Они в мастерских не работают, землю не пашут, не строят. Их дело хвалу Создателю своему воспевать только; потому их после обедни, как отпоют, сейчас же посылают по грибы. Они же их солят и сушат. Их дело чистое. А и нам хорошо за ними. Оби-

тели не приходится совсем покупать грибов, своих на все посты хватает, даже с мирскими делимся, которые победнее... А это вот будет у нас залив Кукинский. Так и со старины он зовется.

— Откуда слово такое?

— А от куки. Кука, которая кует, — пояснил он мне, заметив мое недоразумение. — Здесь прежде водились горластые куки... Тут у нас этой окуни, щуки, леща — изобилие!словно садок! Многолюдно!

На вершине залива домик. Там варят пиццу косцам и убиральщикам сена.

В эти заливы лосось не ходит, не любит их тишины; зато его родственница — кумжа посещает их зачастую, попадая вслед за тем на монастырскую кухню. Сиг их тоже уважает и по теплым местечкам даже поднимается играть на солнце... Пальга в озере самом ловится плохо. Там вода чиста, а эта рыба любит мутную. Осетры в Ладоге есть, но в обитель попадают редко. Около Валаама грунт каменный, и дно каменное, а осетры привыкли к песчаному.

Вон направо в густой зелени деревьев

мелькнула часовня Смоленской Божией Матери[104]. Мелькнула и опять скрылась, точно ей было любопытно взглянуть на лодку, что одиноко бороздит спокойные плесы.

— Вот и рассадник!

— Где?

— Берег так называется у нас рассадником!

Издали ещё был слышен отсюда стук каменотесов, грохот топоров и какие-то крики. Изредка все эти звуки покрывались точно пушечными выстрелами.

— Это камень рвут у нас!

— Зачем?

— А вот сейчас наши постройки увидите!

Челнок пристает к берегу. Мы зацепляемся за дощатую пристаньку и выползаем на серые скалы, около которых тихо плещется вода...

XII

На монастырских работах

Масса рабочих копошится над возведением какого-то каменного здания. Вдали другая масса каменотесов возится за глыбами гранита. Еще издали оттуда слышны пушечные выстрелы — рвут скалы... Я думал, уж не новый ли монастырь вздумали поставить здесь.

— Что это у вас?

— Коровник выводим!

— Вы смеетесь, отец Авенир?

— С чего же, помилуйте. Коровник в три этажа... Вон владимирцы кирпич возят наверх, видите? Наймаем их, они и работают. Хоть спросите у них!

— Да зачем же вам коровник? У вас громадная кирпичная конюшня с отделением для коров!

— Пусть тут будут... Не добро коню быть вкупе с коровою... Они и у Ноя во ковчеге[105] розно стояли. Всякому надобно место! Отчего же не строить?.. Кирпич свой, гранит свой, только рабочие дороги!

В самом коровнике уже возводится какая-то новая, изобретенная монахом печь для топки молока. Уж из дальнейших объяснений строителей оказалось, что о. Авенир, в простоте души своей, называл коровником ферму. Самый же коровник строится саженях в пятидесяти, и для него уже навалены египетские массы[106] гранитного теса. Тешут гранит олончане, преимущественно корелы. Говорят, что это "лучшие каменотесы в мире". Так же как и при ярославцах, и при них множество монахов потеют за кирками.

— Есть даже которые и иеромонахи!

— Неужели в таком сани?

— Что ж? Чем тяжелее послушание, тем пред Всевидящим Оком важнее... Вон он, видите, сидит? Совсем старец. Уж иеромонашествует двадцать лет, да в монастыре сорок, а тоже кирку в руки и ступай. Наместник благословил его камень тесать — для него еще духорадостнее. С кротким сердцем труждается.

Старец-иеромонах, действительно, усердствовал не по летам.

На берегу пролагается водопровод, одна из

труб которого будет доведена до коровника.

— Не пожелаете ли вверх?

Мы поднялись по лесам на значительную высоту. Голова кружилась. Доски медленно качались под ногами, а тут еще то и дело позади: "Сторонись, сторонись!" Везут тачки с кирпичом или наемный рабочий, или монах, обливаясь потом. Еще бы! Втащите сразу такой груз на подобную высоту. Зато вверху перед нами открылся чудный вид на залив. Вершины самых старых сосен раскидывались под нашими ногами. Слово черные шапки, на них выделялись какие-то прошлогодние гнезда.

— Теперь уж тут птицы не будет!

— Почему?

— Другой скит себе птица поставит. Нельзя птице водиться. Тут целый день стук, работа... Кипень самая... Как тут птице быть? Птица Божья, она, что пустынный, тишину любит...

— А кто у вас горы рвет?

— Камень-то? Был прежде рабочий простой — изъявил желание постричься. Ну, мы его быстро в иеромонахи вывели. Нужный че-

ловек, помилуйте. Сколько экономии одной... Прежде нанимать должны были, а теперь он послушание сполняет. Еще усерднее. Как бы вы думали! Он-то и бурит, и рвет скалу... Ловко работает!

Камень рвут тут же, невдалеке от коровника.

Иеромонах-каменотес совсем крестьянин. Та же походка с приседанием, то же озабоченное выражение лица. На нем короткая куртка и скуфья.

— По нашему делу нельзя длинных одеяний. Уж я и то на духу спрашивал, не во грех ли и осуждение мне будет сие. Но, спасибо, отец Дамаскин утешил. Он ведь какое мне мудрое слово сказал: не ряса делает монаха. Иной в коротком и неблаговидном все же монах, а другой и в длинном, да хуже всякой блудницы вавилонской. Ты, говорит, хучь все с себя скинь, да не соблазняйся, и инок выйдешь. Ну, я с тое поры успокоился. Теперь ничего, без всякой опаски в блудном виде хожу.

Все завалено обломками гранита. Суета работы. Приходится выкрикивать слова, чтобы их слышали. Вон бурят трое рабочих поло-

женную горизонтально, громадную гранитную плиту, чтобы она раскололась; другие тешут уже расколовшуюся. Третьи подрываются под обломки скал, чтобы сдвинуть их с места. Рослый, широкогрудый красавец конь стоит около.

— Это у нас Сила-богатырь. Как рабочие не могут сдвинуть — сейчас его. Мигом выпрет. Горы может! Вон он у нас каков, — восхищался монах-каменотес, хлопая Силу-богатыря по спине. Тот только передвинул кожей и повернул морду к нам.

— Что, брат, хлебца захотелось, а?

Сила-богатырь ткнулся ему мордой в руку.

Какие гордые лесные великаны легли ради этого коровника. Я видел тысячи таких бревен, заготовленных обителью. Они валяются тут же. В стороне для рабочих поставлено два домика и трапеза под навесом. В субботу на воскресенье они приезжают в обитель.

Между работниками бывают исключительные натуры. Теперь в обители работает по обету некто В.И. У него, в Питере, богатое хозяйство, мастерская, дети. В почете он там, и совсем бы жизнь его шла хорошо, если б по

временам не запой. А начнется — хозяин ходит оборванный, по частям ночует[107]. Поношение всей семье, не говоря уж о сраме перед рабочими. Приехал он в Валаам раз, помолился — как рукой с него сняло "запойное озлобление". С тех пор он постоянный гость и работник в обители. Теперь его вызвали сделать воротцы и чугунную решетку для ограды, и уж четвертый месяц он, вместе с данными ему в помощь иноками, трудится над этим делом. Кстати, и иноки местные так пообучились, что после его отъезда могут и одни продолжать дело.

Какой тяжелый труд здесь совершается монашескими руками, я убедился в этом именно на постройке все того же коровника. Погреб приходится вырубать в цельном граните. Вода чуть сочится сквозь его поры, для нее проделывается канавка. Эта египетская работа совершается также системою послушания.

XIII

Запретный скит. — Молчальник

Гранитные утесы правильными отвесами обрушиваются в покойные воды Нового пролива. На их вершинах ели и сосны, точно молчаливые часовые, сторожат сверху свою заманчивую пустыню. Мы плывем мимо, невольно погружаясь в дрему. Цель нашей поездки — самый строгий скит Валаамский — Иоанна Предтечи, куда из богомольцев не пускают почти никого. Много, много, что в год трое, четверо посетят отдаленный уголок. Об одном из двух схимников запретного скита мне говорили ранее, и я горел нетерпением скорее познакомиться с этой в высшей степени интересной личностью. Он известен под именем "безмолвника".

Красивый Новый пролив тянется до мостика, за которым начинается канал Копаный, проведенный монахами. Тут было песчаное безводье — о. Дамаскин вырыл достаточную для лодок ложбинку — в две сажени шириной и пятьдесят длиной. Глубина канала — сажень. Окончена работа в 1859 году. В одном

месте привелось скрыть прочь выступ горы с гранитным стержнем. Стены под водой выложены камнем. Вся работа сделана грубо, но прочно и является замечательной, потому что над нею трудилась одна невежественная масса. Специалистов не было. Бесконечная энергия, сметливость, настойчивость и масса даровых рабочих сил, которыми располагает обитель в лице своих монахов-крестьян. Этим каналом дали выход в море всевозможным внутренним озерам и салмам. В конце, где канал выходит в один из Ладожских заливов, два его берега смыкаются, и мы плывем по узенькой щели. Один ее берег — каменный пологий мыс, другой — крутая лесистая гора. Из-за ее вершины едва заметен зеленый купол. Он словно прячется в чащу от чуждого взгляда. Это-то и есть скит — цель нашей поездки. Весной и осенью в этом проливе лед слаб — ни на лодке, ни пешком. Пустынники скита запасают на это время сухари, тем и живут... В обыкновенное же время им ни молока, ни масла, ни рыбы не полагается: едят овощи, пустые щи, кашу с квасом. Всех отшельников теперь четверо. О. Иринея — "без-

молвник" лет семидесяти, манатейный монах [108], тоже старик и двое рясофоров, изъявивших ревность потрудиться именно в этом ските. Кругом вода. Островок — четверть версты в ширину и половина в длину. Точно на корабле, затерянном среди океана, живут эти отшельники, почти не имея сообщения с остальным миром. Со своих вершин смотрят они на паруса далеких судов, скользящих по безбрежному простору озера, привязываются ненадолго к ним мыслью и грезой; видят иногда чухон-тюленщиков, которые на своих лодках плавают мимо, стреляя морского зверя. Изредка в непогоду пловцы просят ночлега и заночевывают в лесу, вне стен скита... Жизнь этих отшельников похожа на ту, которую ведут маячные сторожа на отдаленных островах Северного океана да промышленники, поневоле зимующие на острове Обретенном, т. е. на Новой Земле.

— Отец Ириней безмолвник, схимник, — предупредили меня.

— Братия!.. Рад вам... рад, братия, спасибо, что потрудились. Спасибо, голубчики.

— Вот отец наместник дозволил им по-

смотреть ваш скит, отец.

И Авенир подошел было под благословение.

— Недостоин я, грешный, недостоин! — смиренно отстранил его безмолвник и вместо благословения расцеловался с ним.

Он в монастыре уже сорок пять лет. Прежде когда-то был купцом в Петербурге и торговал в Гостином Дворе. В обители он отличался очень веселым нравом и говорливостью.

— Так говорить любил, бывало, начнет — не остановишь! И хорошо говорить мог. Красно. Заслушивались.

Заметил это о. Дамаскин и захотел испытать, насколько может смириться о. Ириней.

— Наложу на тебя послушание, не знаю, перенесешь ли?

— Господь поможет.

— Ну, так вот, молчи, пока я тебе не скажу. О. Ириней и смолк. Молчал бы, пожалуй, всю жизнь, да через девять лет узнал о. Дамаскин, что слава о подвиге Иринея прошла далеко и о нем хотят писать, пожалел о. Дамаскин старца, как бы не вышло соблазну, не возгор-

дился бы инок, и приказал ему говорить.

О. Ириной заговорил после девятилетнего безусловного молчания.

А еще толкуют, что у нас нет характеров! На что бы ни был направлен и чем бы ни руководился о. Ириной, все-таки это крупный характер. Вынести подобное испытание ужасно. На Иринее оно даже и не отразилось. Он свеж, бодр и говорлив, как в первое время своего пребывания в обители. На этом маленьком острове он уже около двадцати лет и любит его, как капитан свой корабль. Оставляет его он только в годовые праздники; тогда, отслушав обедню, он и трапезует вместе с братией, а, окончив трапезу, не медля возвращается в свою пустынь. Он ее украсил, как мог, над каждым клочком ее работает, как прилежный раб в притче[109].

— У нас с колокольни хорошо!

Взобрался я на нее. Лесное царство кругом. Сквозь небо поблескивают светлые воды, и туманно рисуются другие берега. Оказалось возможным подняться еще и в купол. Отсюда виды еще прелестнее. Серебряные и голубые извивы проливов. Широкие плесы, окутан-

ные со всех сторон зеленой дремой. Длинные скалистые мысы, мысы, поросшие соснами. Далеко на юг над вершинами плавают серебряные куполы другого скита Всех Святых, а еще дальше — точно горделивый белый корабль из зеленого моря лесов подымается собор самой обители... Простор, дичь и глушь... В противоположное окно — Ладога, вплоть до смутных очертаний корельского берега. А вон, напротив, чуть-чуть мерещатся за шестьдесят верст скалы Якимваари. В этом куполе что ни окно, то новая картина. Мы переходим к следующему, и под нами над опасной лудой [110] — маяк. Семь лет тому назад здесь сел на мель пароход Коневец... Вон несколько суденышек точно под ногами у вас ползут маленькие, маленькие...

— У нас и колокол внизу особый, примечательный.

— Чем это?

— Борисом Годуновым жертвован... Еще мы вам покажем колодезь наш. Семь аршин в скале выдолблено, ключа ниоткуда, а вода студеная и обильная. По учености судить — может, из скважины, а по-нашему — волею

Божией. Вода высоко стоит здесь — аршин над вершиною горы, вершина-то ниже воды... Как это по-вашему? По-моему — чудо непре-
станное.

— Как этот колодезь пробрили?

— А в Преполовление[111] отец игумен при-
ехал. Где бы колодезь найти? — спрашивает.
Ходили мы, ходили — нет нигде. На это место
пришли — мокрый мох в ямочке, в низинке.
Сунул отец Дамаскин палку, на аршин вошла.
Давай рыть — докопались до скалы. Стали
долбить скалу, вдруг как хлынет вода, и по-
шла, и пошла, а теперь выше горы стоит.

Кедры кругом молоденькие, но принялись
шибко, обветвились и растут вширь.

Молодые кедры мне напоминают малень-
ких слонов, уже в самой неуклюжести их ши-
рокого тела сказывается будущая громад-
ность и сила, так и в кедре.

— Кто это посадил?

— Я, — отозвался безмолвник. — Когда они
вырастут и окрепнут, нас уже не будет. Дру-
гой придет любоваться ими... — задумался
он. — Одно плохо — не везде для них способ-
но. Вишь ты, растет, растет чудесно, а потом

вдруг и посохнет... Есть такие, которые пятнадцать лет подымались дивно и пропали на шестнадцатом... Я так думаю, корни их до луды дошли. Мальчики, — обернулся он к нашим гребцам. — Видите, репа поспела. Берите, ешьте сколько угодно. Жаль, яблоки у меня не вызревают.

Дети бросились в огород. Старец проводил их любящим взглядом.

— Эх вы малые, малые! Иде же есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше![112]

В свое время в обители о. Ириной был келлархом и звался о. Иваном[113]. К нему часто хаживал пустынный из лесу, и о. Иван стал по его примеру ревновать к пустынножительству. Хотели сделать его иеродиаконом, отказался — "недостойн". Ушел в скит, потому что лесное пустынножество о. Дамаскин уже стал прекращать. Ириной и до сих пор само смирение и привет. Каких бы ни был убеждений человек, из беседы с ним он вынесет отрадное впечатление неослабевающей бодрости и энергии; молодая сила в организме старческом. У о. Ириная от лет уже седой пух из ушей повырос, а он, наверное,

больше нас с вами и ходит, и работает. Стал меня расспрашивать, много ли я езжу, бывал ли в обителях.

— Хорошо вы путешествуете — изобильно и пространно!.. Угощу я вас теперь нашим лакомством. Что ж делать, чревоугодники и мы тоже!

И старец сам нарвал целую тарелку крупной земляники.

— Это все от нашего труда!..

Скиты живут своим хозяйством. Обитель дает им только хлеба. Овощи скит должен производить сам. Кроме огорода, у о. Иринея есть и другая излюбленная работа. Он плетет тонкие осиновые короба, сшитые черемховым лыком, мебель из ветвей.

— Посылаем в обитель, там продают во славу Божью, должно быть.

— Деньги за проданное кому же, вам?

— Нам деньги? Зачем нам деньги? У нас и в обители монах денег не видит. Кому я возьму деньги? Я и забыл о них, понятия теперь не имею, какие оне ныне... И зачем? Что тут деньгами сделаешь? Наш скит — постный скит. Оттого и Иоанновым назван, чтобы

постным быть. Иоанн акридами и диким медом питался[114]. Живем мы тут, никто нас здесь не, посещает.

— Не пускают?

— Какие же мы пустынные были бы, если бы к нам в гости ездили. Одно беспокойство отшельнику. Так и игумен говорит. Пусть лучше один отдельный скит будет, чем несколько посещаемых. Сюда к нам даже и братию не пускают.

Пустынь, ее площадку, храм и сад со всех сторон мрачною стеною обступили темные ели. Насупились и словно что сторожат здесь. Точно раз попавшего сюда они уже не выпустят назад. Жутко даже становится, так жутко, что совершенно понимаешь того афонского монаха, который, как-то попав сюда, думал остаться и не выдержал — бежал, чуть не помешавшись, в Угрешский монастырь[115].

— Мрачно у вас. Скучно.

— С Богом и в лесу жизнь, а без Бога и в раю соскучишься.

Из какого чудного леса выстроена здесь церковь. На нее шли бревна аршина полтора в диаметре. Дерево крепкое, словно камень.

Здоровыми соками питалось и целые века шумело в вышине горделивой вершиной, давая приют тысячам птиц, прежде чем, могучее и еще полное жизни, оно упало под топором монаха.

Внутри церковь совершенно проста и скудна, как подобает в пустыне.

— Церковь молитвой держится, а не окладами. В убогой церкви Бога еще лучше зришь. Не заставлен Он от тебя сокровищем.

— Вот, пойдемте, покажу я вам красоту неопisanную. Картину такую, какую земным художникам не написать. Небесный художник ее рисовал.

Вышли из пустыньки. Вдруг леса и скалы, до сих пор заставлявшие даль, раздвинулись. Обрыв вниз. Мы стоим на карнизе. Пред нами безбрежный простор Ладоги, появившийся неожиданно, точно по мановению волшебного жезла. Ели шумят далеко внизу, маленькими кажутся с этой высоты! Мне эта картина живо напомнила вид из Байдарских ворот в Крыму[116], где путешественнику, утомленному однообразным маревом гор да лесов, вдруг представляется громадная перспектива

Черного моря.

— Иной раз, внизу так играет стихия! Мощество Бога своего являет. Пены набьется, точно в серебряных облаках наш остров плывет.

Над обрывом — крест, тесанный из гранита. Налево — залив, гавань, куда из-за пятидесяти верст бегут корабли отстаиваться от бурь.

— Нам только одни мачты их видны да палубы. Махонькими кажутся. Им к нам нельзя, нам к ним не подобает. А гавань мы во имя св. Никона окрестили... Вон наши рыбаки выезжают.

Какая-то черная точка действительно ползет по морю, ничего на этой черной точке не разглядишь.

— Это, должно быть, отец Олимпий. Он и есть! — всматривался Ириной.

Постоянная привычка разглядывать предметы на далеких расстояниях дала удивительную зоркость старческим глазам. Где-то в стороне точно клочок тумана осел и мерещится оттуда. Ириной разглядел около этого островка монастырский пароход. Видимое де-

ло, человеку одна житейская отрада и оставлена — любоваться на эти дивные дали. Тут и слепой прозреет.

Вон внизу, неведомо как прицепившись к отвесу, держится громадная сосна. Лес шумит у нас под ногами, вода бьется в берега, и, точно серебряная нитка, окаймила их едва заметная отсюда пена прибоя. Удивительное спокойствие веяло на душу. И не одно спокойствие — горе забывалось, прощалось всем, примирение казалось так легко!

Вдали показался другой пустынный, едва бредет. Седой весь. Келья его на версту от кельи о. Иринея. Паисий забрался в чащу лесную. Давно просился он на этот одинокий островок, не пускали, как и других.

— Братии не дозволяют сюда. Зачем тебе, говорят; жить так, как они, — не сможешь, говорить станешь. Едва Паисия благословили.

— Удивляюсь, отец Иринея, как это вы такую бодрость еще сохранили. Подвиг ваш труден, пища скудная.

— А что березку на камне питает? Ишь она выскочила сдуру, а Бог ей сейчас и жизнь дал. Вон она, поглядите-ка, как раскудрявилась. А

откуда, кажется. Пища у нее в камне скудная...

О. Паисий, тот совсем в другом роде. Ириней — тип подвижничества, тип тех времен, когда люди спасались от всего живого, от скверны мирской в пустыни и дебри, уходили в безлюдные леса и, прожив там в тишине и душевном покое десятки лет — временами, вызываемые обстоятельствами, возвращались к народу боговдохновенными обличителями, вождями, учителями. О. Паисий, тот скорее Манилов[117] во образе пустычника. Всему он радуется, и притом очень слащаво. В мире он был сапожником.

— Благодетели! — встретил он меня. — Посетили нас, неимущих, немощных рабов Божьих.

Слово "благодетели" поясняется тем, что в скит этот пускают только тех, кто уже очень крупные пожертвования делает, — купцов, которым отказать нельзя.

— Благодетели, живем мы здесь скудно, убого... Лесными людьми живем... давай вам Бог!

— Пойдемте, я вам наш остров покажу, —

прервал его о. Ириней. — Полюбуйтесь на красу его!..

Мы спустились вниз. Тропинка то и дело огибает громадные свалившиеся сверху скалы... Осыпей подозревать здесь нельзя, нужно было остановиться на землетрясении, несмотря на северное положение Валаама.

Я сообщил это о. Иринею.

— По-вашему... А по-моему, это когда на кресте Христос дух испустил. Земля потряслась, и камни распадашася... Только вдумайся, везде следы этого найдутся. Ишь дорога-то — сукном подернулась.

Действительно тропинка здесь от сырости точно зеленым сукном покрылась. Мох мелкий совсем ее заполонил. Тянется она вокруг всего острова. Все время около нас шумит озеро. Сегодня поднялся к вечеру ветер, и, срывая белую пену с гребней волн, налетающих на утесы, несет он ее прямо к нам в лица. Путь этот сделан руками отшельников в 1865 году. Мы обошли остров и в одном из лесных участков заметили простой сруб.

— Моя келья! — повел нас о. Ириней.

Крохотная горенка и другая такая же. Го-

лые нары, под голову полено. Вот и вся обстановка.

— Скучно тут, — вырвалось у меня.

— Соскучишься, так кричи: "Господи, помилуй! Господи, помилуй!" Ну, как дитя вот... Господь услышит, Он утешит. Из кельи вверх на кручу лесенка с перилами.

Воображаю, осенью и весной, в непроглядную темень ночей, как живут эти отшельники за версту друг от друга. Только вой метели, да стон ветра в ущелье, да шорох снега, осыпающего с деревьев, и говорят их чуткому слуху о жизни и движении. Мертва, как могила, келья и темна, как она. Свечей и лампад пустыnnики не жгут вовсе — не полагается им. Еще как печка топится, так перебегающий свет скользит по стенам бревенчатого сруба. Оказывается, впрочем, что Ириной не всегда и топят. Когда уж вдоволь стужа приступит — поневоле, а то и так обходится. Огня не зажигают и в церкви. Всю ночь в ней пустыnnики читают по очереди, во тьме на память.

— А что забудешь — падешь ниц и своей малоумной молитвой дополнишь. Слов не

хватит, слезами. Оно точно как следует и выходит.

Когда два пустычника в церкви вместе, тогда свечей не зажигается, чтобы не видеть друг друга. Это — одно из условий жизни в скиту.

— Отчего келья у вас, отец Ириней, внизу — а не наверху?

— А так как бы Фавор[118]. Мы, как апостолы, внизу, а Господь невидимо наверху присутствует.

Монахи рассказывают, что пустынникам часто чудится. Еще бы!.. Какие видения должны являться им, вечно пребывающим в одиночестве и мраке. Какие голоса должны звучать в этой чудной тишине — когда сердцем слышишь, когда оно раскрыто и ждет — приди. Господи! И несомненно, что Господь сходит к ним, сходит в звуке и образе, сходит, как елей на болящую душу. Сходит в пламени молнии, сходит в тихом дуновении ветра. Распростершись ниц, безмолвник внимает грозному глаголу, и в самые тяжкие минуты уединения, в самые глухие ночи, на высоте точно разверзается твердь, и широко раскры-

Ты́м очам явля́ются легионы светлых а́нгелов, сия́ют божественные кущи и раскидыва́ется иное, незде́шнее небо...



Послушники пилят дрова.

Иначе, как бы, не видя этого рая, живой вылежал десятки лет в этой одинокой могиле?

В запретном ските по собственной воле поселились двое послушников. Мы их застали обоих — пилят дрова. Один писанный красавец — сын протоиерея. К сожалению, он совсем глух.

— Что, без рыбки соскучились?

— Вот день как попилят, так вечером им и в голову не придет, что рыбки нет, — ответил за них о. Ириней.

— Чай пили ли? — продолжал шутить о.

Авенир.

Чай в скитах запрещен вовсе.

— Из губы (залива) пили, — отшутился другой послушник.

— У нас губа эта злая.

— А что?

— Тут волны осенью сажени по две ввысь ходят... Гремят что тучи.

С какой любовью отцы-пустынники возделали свой маленький островок, каждый уголок его! Там крест высечен, тут скала деревьями обсажена... Такое же отношение, как капитана к своему кораблю.

— Остров ваш мал, даже и зверю негде...

— Нет, олени живут свободно. К самым кельям подходят, бывает. Одни тюленчики бьют их, мерзкие... Зато ядовитых зверев у нас по всему Валааму нет, — пояснил Авенир.

— Каких ядовитых?

— Да волков и медведей.

Назад мы плывем другим проливом.

Деревья в воде стоят. В прошлом году вода была еще выше. Досадно было за лесную красу. Простояв лето в воде, она пропадет.

— Потому корни у них подопревают. Ну

МЫ ЗИМОЙ СПИЛИМ ВСЕ ДЕРЕВА ЭТИ.

Коневский скит. — Отец Дамаскин

— У нас трудно, очень трудно иноческого сана добиться.

— Почему?

— Пока еще тебя послушником примут, навозишься, да в послушниках шесть лет, а если молод, то и больше. Моложе тридцати лет рясофором не сделают. Да и в рясофоре, если ты во всем взял и обители угоден, просидишь только шесть лет. Лет пятнадцать до мантии-то промаешься. Я вот мантию получил на седьмом году.

Все это объяснял мне благодушный о. Самуил по пути в Коневский скит. В нем живет всего один пустынный о. Макарий. В мире он был на пивоваренном заводе рабочим. Застали мы его за самым невинным делом. Прудок у него около келии. Возился он над ним.

— Благословите, отче.

— Господь благословит. Недостоин я...

— Что это вы делаете?

— Да вон в прудок эту рыбку пускаю. Пущай же она водится.

— Какую рыбку?

— А сижков махоньких да ряпушку. В пруде у меня щучки нет, ну, так без хищного зверя всякой мелкой рыбке куда как вольготно будет... Нехай ее забавляется. Подрастет, в светлые дни полюбуюсь, как она на солнце играть станет... Только и отрада, что молитва, да вот прудок мой; ко мне мало кто ходит. У редкого явится усердие такое, чтоб к нам в дальний скит... Мальчика бы мне, — обратился он к о. Самуилу.

— А ты просил?

— Просил наместника[119], обещал. А то я здесь один совсем, как жук на осоке... Все одному невозможно переделать... Огородик-то свой я позапустил.

Пруд чрезвычайно весело смотрит. На нем разрослись какие-то желтенькие цветки, и водяные лилии, которые о. Макарий почему-то называет курочками. Зеленые листики прямо, точно тарелочки, на воде лежат.

— Ишь ты, словно блюдца. Разбросались как. У меня тут место мягкое. Спокой. Ни гор высоких, ни возерной волны. Тишина у меня. Вот сижу да слушаю звон из того леса. Коров-

ки там ходят. Иная и ко мне забредет, к пустыннонику, навестит тоже. Ну, хлебца ей — все лишнего гостя привадишь. А как настоящего человека Господь пошлет, милостивый, так истинно возопиешь: возсия нам яко солнце светозарне в велелепии!

В Коневском ските хранится образ Нерукотворенного Спаса, собственного письма графини Орловой[120]. Колокольня низенькая. С нее только и видно, что пруд кругом, да пустынька самая. Вокруг церкви посажены вязы, серебристые и душистые тополи.

— А это что?

— Аулье дерево. Божье дерево такое есть, аулье. Сказывают, у кровожадных черкес растет.

— Как! Такого дерева нет, да и черкесов ныне не осталось, все в Турции.

— Верно, говорю, аулье. Так и отец Дамаскин называл, оно и из Турции может быть. У нас много деревьев из неверных мест[121]. А черкеса расточили наконец?.. Ну, что же — не бунтуй!.. Это хорошо!

Вязы особенно хорошо принялись здесь.

— Рыбку едите? — подшучивал я.

— Уху хлебаем из пруда. Велика кадка-то, рыбки и не поймаеть.

Огород ступеньками кверху. Хоть старец и жалуется на то, что запустил его, но на мой взгляд, у него все в исправности.

— Тут еще какие деревья у нас есть — диву дашься. Из Белой Арапии, сказывают, одно — сам нечистый бузук[122] его сажает. А вот клен-то. Ишь могучий какой. Его отец Дамаскин вырастил. Отец Дамаскин здесь в затворе пробыл несколько лет, в Коневском ските моем. Раз он кленовую палочку так взял да и посадил в землю, а она из себя корень пустила. Ишь теперь дерево какое райское вышло. Гущина... Сила-дерево. А сам-то отец Дамаскин без рук, без ног. Как кого умудрит Господь! А вот это дерево, по-моему, большая лапа зовется, потому что у него лист такой.

Пушистые лиственницы окружают бывшую келью о. Дамаскина. В самой келье чистота. Все словно только что вымыто. Видимое дело, блюдет ее о. Макарий. Вот и гроб, где несколько лет спал о. Дамаскин, ведя отшельническую жизнь в этой пустыньке. Он, как теперь о. Макарий, был здесь в полном

одинокестве. Только священные книги утешали его в уединении. Память о его подвижничестве столь высоко ценится монахами, что мне случалось слышать такие, например, отзывы.

О. Макарий чистая крестьянская душа. Работает над своей пустынькой в поте лица, улучшает ее как может; для того, чтобы понять, как энергия одного человека изменяет местность, следует приехать сюда. Валаамские иноки вообще представляют полные типы северного монашества — монашества мужицкого, чуждого хитросплетениям византийским и строго блюдущего свой основной принцип — обязательность труда и беспрекословность послушаний.

— Деревья эти только нашей зимы не любят. Кабы мы их в шубы не заворачивали, давно бы им помереть.

— В какие шубы?

— Да соломой обертываем... И досками тоже забиваем от зайца. Заяц зимой — подлый зверь. Голодно ему, бедному, он сейчас же и почнет кору грызть. Пока мы не догадались, много дерев у нас косою попортил... Особенно

ежели осина либо яблоня... Зайка сейчас к ним. Ушаст, ушаст, а тоже понимает. Кленов вот не жаль, они у нас лесами сами растут... Ухода за ними не надо — Божье дерево...

— И не скучно вам здесь одному?

— Как не скучно? Скучно. Особенно песья муха скучит... Жрет она меня... Ведь и махонькая какая, а сколько в ней лютости! — И при этом у о. Макария добрая-добрая улыбка, "легкая", как говорят монахи.

— Тут хоть гулять, когда вздумал, можно, а вон их, — взглянул он на о. Самуила, — и гулять в лесе не пуцают.

— Наши монахи все работают на послушаниях, оттого и гулянки им по лесу нет. С утра до трапезы, от трапезы до вечера... Когда тут?

— Все послушания назначает наместник?

— Инокам он, а трудникам да наемным рабочим — отец эконо́м. Ну, кому благословлено чай пить, тем от трех до четырех часов дается время. А то иди-ко. И чай-то как еще у нас. Раз разрешили четвертку чаю. Выпил я ее всю — иду просить отца Дамаскина благословения купить еще. А он мне таково ли прозорливо в глаза взглянул и говорит: "Посиди

месяц без чаю, для души твоей полезно это..." Я думал сначала, блажит игумен, а потом сообразил, что это он смирение мое испытует. Пал я ему в ноги и пошел. Что ж бы вы думали, через месяц призывает меня сам, не забыл: теперь, говорит, пей чай, потому видел я, что жестоковыйности[123] в тебе нет во все...

Коневский скит создал о. Дамаскина, этого последнего и настоящего устроителя Валаама.

Пришел сюда Дамаскин крестьянским мальчиком из Тверской губернии — не умел ни читать, ни писать... Держали его на черных работах, причем иноки поясняют, что из черных — самые грязные давали ему: кособрюхий был. Выдержал он этот искус в течение двенадцати лет, причем ни разу от него не слышали жалобы на несправедливость или просьбы облегчить его труд. Только что его посвятили в монахи, он отпросился в пустыню. Тут он вел созерцательную жизнь, выучился читать и много думал над каждой прочитанной страницей. На посещавших его он производил странное впечатление. Точно, говоря с ними, он думал о чем-то другом. "В

какую-то сокровенность презирал". Но все-таки остался, несмотря на это, столь верен своему мужицкому облику, что, когда его привезли в Александро-Невскую лавру для посвящения в игумены, тамошние монахи стали острить: "Вот привезли валаамского медведя".

— Жаль уши малы, а то бы Валаамовой ослицей[124] нареци бы его можно!

И немного спустя этот медведь показал себя действительно медведем.

До него в монастыре было слабо. Нестрое-ние[125] полное, иноки любили грешное ку-рево и еще более водку, супротивничали, и дух неповиновения "рожном стоял" в обите-ли. Тверской медведь сразу разогнал всех за-водчиков[126] этого беспорядка. Затем он на-значил человек тридцать, которых высмот-рел заранее из уединения своей Коневской пустыни, на все монастырские посты и, опи-раясь на их содействие, как настоящая сила, стал ворочать круто без всяких постепенно-стей. Чтоб держать в своих руках не только внешний порядок Валаама, но и на души, и на сокровенные помыслы иноков наложить узду, он сделался общим духовником. Моло-

дое монашество воспитывал он в том же духе. "Всех нас вырастил", — говорят о Дамаскине нынешние столпы Валаама... В уединении Ко-невского скита он провел семь лет, и издали ему лучше виделись все темные стороны тогдашней обители. Долго отказывался он от избрания, но раз взяв узду в свои руки, он никогда уже не ослаблял и не опускал ее. Руки эти были тверды, как и воля, владевшая ими. Он возобновил семь скитов, выстроил каменную обитель, нарыл везде колодцы, устроил множество хозяйственных учреждений... Вообще монастырь разбогател и развился при нем. Он был удивительно многосторонен. Еще недавно безграмотный мужик, только что власть попала в его руки, он тратится на библиотеку монастыря, поощряет литературные труды о. Пимена, издает их, входит в сношения с известными учеными по поводу разных сомнительных вопросов по истории Валаама, сам составляет планы церквей и исполняет их, задумывает механические усовершенствования того или другого производства, и в этом отношении специалисты только удивляются его ясному и точному уму. Ли-

ца, посещавшие этого еще недавно кособрюхого медведя, выходят от него изумленными массой сведений и красноречием Дамаскина. "Он провидел сердце каждого, и нередко жестокие люди выходили от него со слезами на глазах". Сумел из врагов создать друзей, а из друзей делать верных исполнителей своих приказаний. Это был человек неустояющий... Ему не надо было отдыха и сна... Рядом с этим чужая воля для него была ненавистна. Около себя он не терпел никакой силы. Он, не щадя никого, запретил инокам посещать друг друга... Сам мужик, в лучшем смысле слова, он выше всего ценит труд и делает его обязательным для каждого. Он выдерживает образованных иноков на черной работе, чтобы узнать, годны ли они ему, могут ли повиноваться беспрекословно. Возмечтал о себе как-то инок, и возмечтал столь неистово, что даже хотел разуказиться. По закону следовало исполнить его желание. Не так делает о. Дамаскин. Для него законов не было. Поэтому он выхлопотал повеление — оставить инока в обители, а за непокорность его из монастырных разжаловать в послушники и сослать в

отдаленный скит. Когда читали указ строптивому монаху, тот упал как подкошенный, а на братию это произвело столь сильное впечатление, что никто уже не мог помышлять о возвращении в мир. Валаам, действительно, сделался могилой, из коей выхода не было. Дамаскин был человек системы. Вольное подвижничество по лесам он убил наповал. Нарочно поставил семь скитов: кто хочет спастись, иди в скит и спасайся по установленной им программе. Мне кажется, если бы для диких лесных оленей возможно было бы устроить какое-либо подобие скита, он бы и их загнал туда, потому что рядом со своей свободой ничьей он признать не мог. Это был централизатор в самом беспощадном значении этого слова. Железная сила, воля, питавшаяся препятствиями, ясный ум и понимание сердца человеческого позволяли ему успешно приводить в исполнение самые трудные замыслы. Для Божьего дела можно было все. Цель оправдывала средства, и если какая-либо старуха под влиянием его поучений оставляла свое имущество обители, обделяя родных, то ведь сим же последним прино-

силась тем самым великая польза. Ведь богатому труден путь в царствие небесное, и притча о верблюде и игольном ушке[127] тотчас же являлась к услугам о. Дамаскина. Что же касается храма, то ему подобает честь и великолепие. Не для роскоши инокам доставал он таким образом наследства, вклады, пожертвования. Напротив, иноки одевались грубо, питались скудно. Страсть к регламентации и ненависть ко всему, что живет вне программы и системы, заставила его отвалить от посещений обители странников и странниц. Он их терпеть не мог, как и вообще всех потаскух, в каком бы виде они к нему ни приходили. Раз является к о. Дамаскину странник в веригах[128]. Весили они у него семь фунтов.

— Благослови, отец святой, сделать мне их в монастырской кузне в тридцать фунтов. Имею усердие.

— Ступай в кузню. — А сам мигнул келейнику: "Скажи кузнецу, чтобы пугнул".

Является странник в кузню. Кузнец ему в ухо. Странник обратно ему наотмашь. Зовет его о. Дамаскин.

— Иди вон, раб строптивый. Я пожелал испытать тебя. Вот были бы вериги, когда бы ты другую щеку подставил по завету Христову.

Явится, бывало, странник в железном колпаке. Он сейчас этого факира в хлебную квашню, тесто месить. Поворочается железный колпак, поворочается и бежит вон из обители.

Строгость его была чрезвычайная, хотя, зная влияние ласки, он и ее пускал в ход.

— Бывало, скорбь какая — к нему, он сейчас утешит. Из одной книги цветочек, из другой книги цветочек смотришь, и скорби как не бывало[129]. Точно туча прошла.

Цветочки эти ему ничего не стоили, а влияние в пастве поддерживали великое.

Иногда он даже умел быть и снисходительным. О. Никандр весной приготавливал гостиницу для богомольцев да после трапезы уснул. Дело было еще впусе[130]. Первый пароход не приходил, а ожидался. Дамаскин невзначай нагрязнул. Видит: Никандр спит, "он и давай лазить. Лазил, лазил, облазил все келии и ушел". Дня через четыре Никандр видит его едущим мимо.

— Отец, поди-ка сюда.

— Благословите.

— На днях у вас там один брат был. Ходил по всем номерам — пустые были... Двери отворены. Так нельзя. Нестроение это, от него же всякая злая вещь!.. Ведь если я к тебе заеду и увижу, так замечание сделаю.

И это как пример необычайной снисходительности рассказывают по всей обители.

— А иной раз ездил он грозно. Насупится, примечает все, ну, а потом разборка у него идет.

Выделение личности из общего уровня было ему до такой степени враждебно, что на иконах, писавшихся в обители, он запрещал выставлять имя художника, на книгах, сочиненных иноками, печатать фамилию автора. Зато на первых значилось: "трудами Валаамских иноков", на втором: "по благословению Валаамского настоятеля отца игумена Дамаскина, составлял Валаамский иеромонах", а какой — неизвестно!

С высшими лицами церковной иерархии Дамаскин умел ладить без унижения. Они высоко ценили Валаам, как самый строгий и су-

ровый из монастырей. Вот один из таких примеров.

Проповеди в монастыре не произносят, а читают поучения святых отцов. Говорят проповеди только посещающие обитель митрополиты, что для иноков составляет редкое и потому большое развлечение. Раз приехал сюда известный преосвященный Григорий [131] — хороший оратор. Он в церкви не сказал ожидаемого "слова". За трапезой о. Дамаскин обратился к нему.

— Мы скорбим, отче святой.

— О чем это?

— Проповеди твоей не удостоились.

— Здесь не надо. Я знаю, где читать, — не вам примеры указывать, ваши иноки сами могут всякому примером быть.

О. Дамаскин любил чернорабочих монахов. Работавших в смолокурне [132], в конюшне, в полях он ставил всем как образец. "Запах трудового пота был для него ароматом, мозолистые руки — добродетелью". Из "чистой работы", как говорят в монастыре, о. Дамаскин больше всего покровительствовал художникам. Даже для приезжих пейзажистов

всегда было отдельное помещение в обители. Он окружал их всевозможными удобствами. Монастырские лошади, экипажи и лодки были к их услугам. Сам он часто беседовал с ними и любил приходить любоваться их работой.

Теперь уж несколько лет как о. Дамаскин разбит параличом. Это труп видящий, слышащий, и только. Тем не менее уважение к нему столь велико, что его именем управляется обитель и никого на место его не назначат иначе, как после его смерти.

— Барыни, впрочем, и теперь находят его прозорливым. Благодетельницы и "сугубые" особы допускаются к нему. Иногда он промычит что-нибудь, головой кивнет, пальцами пошевелит — это приемлется за предсказание, — и довольная богомолица всем рассказывает:

— Удостоена беседы была... Уж так сладко, так сладко! Такую духорадость дал мне отец игумен, так он меня утешил, сказать не могу!

О. Дамаскина называют Аракчевым[133] в рясе. Мне кажется, это неверно. Он гораздо умнее Аракчева. Это скорее маленький Петр

Великий, сумевший свои разносторонние способности приложить к делу на небольшом пространстве островов Валаамских. Во всяком случае, личность настолько крупная и оригинальная, что мой набросок дает о ней только слабое понятие. Точной его биографии и характеристики можно ожидать лишь впоследствии, и то не от монаха.

Большой скит Всех Святых

Лес по обе стороны скитского залива. Безветрие совсем. В воде играет рыба, звон от всякой мелкой мошки стоит в воздухе. На редких полянах, где лес точно отходит от берега, — стога сена. Травы вообще снимается здесь много.

— Нам преподобные помогают. Столько мы сена собираем, что даже береговым даем, которые победнее.

— Эко день сегодня.

— Теплынь... Благодать... Ишь небеса, истинно поведают славу Божию.

— Жаль только, что здесь монастырь, — заметил мой спутник.

— А вы иноческое звание отмечаете? Это вы неосновательно! Златоуста[134] читали? — вступился о. Эльпидифор.

— Не случилось, так, отрывками.

— Ну, вот, видите сами. По невежеству своему судите. А он вот что сказал: приди же и учись у монахов, это светильники, сияющие по всей земле. А у Луки[135]: слушай вас, Ме-

не слушает! О ком это? Отметать легко, а вы бы помыслили, почему мы от прелести земной и всяческой суеты отрицаемся. Для ради спасения душ ваших. Вы согрешаете, а мы за вас молимся. Вот в большом ските отца Григория увидите. Млад и не вкушал еще от соблазна житейского, а какую в себе ярость к монашеству чувствует. Истинно инок неистовый! Теперь, говорят, монашество блага преумножает. Да для кого это? Нам не надо. У нас все те же ряски убогие и трапеза скудная... А ежели что — мы соседям помогаем. Хлеб даем, шубы, сапоги даем, кафтанчики, кирпичи на постройку, лучины для крыш. А лучину эту цеплют монахи ведь... не даровое...

Здесь крыши кроют лучиною, которая оказывается прочнее и лучше досок.

В вершине залива яркий зеленый лужок. Домик тут у пристани для дровосеков и лесопильщиков. Мы вышли из лодки. За четверть версты от скита изящная часовня. Иконостас в ней из черного гранита, отполированного и отделанного в самой обители руками монахов. В общем и в деталях удивительно красиво. Женщинам запрещен вход во все скиты,

но в день Всех Святых они могут притекать сюда, только до этой часовни. Дальше ни шагу. Отсюда видны им ворота скита, его красные кирпичные стены и круглые башни... Пожалуй, еще мелькнет сквозь решетку ворот изможденное лицо одного из отшельников, да и то оглянется на них с ненавистью и отворачиванием.

Скит по величине равняется небольшому монастырю. Посреди четверугольника, окаймленного стеною, красивая каменная церковь. К стенам прислонились восемь домиков, из камня тоже. Тут кельи, трапеза и кладовые. Домики смотрят весело.

Много зелени скрашивает прямолинейность построек... Братии живет всего восемь человек.

— Вот тут есть светильник! Истинно святой отшельник — из болгар.

— Кто такой?

— Антиппа... Он один чего стоит. Ныне уж безмолвствовать стал. Ни к кому не выходит и окно у себя держит всегда на затворе. Не видать вовсе. Через дверь послушник подает ему что надо, и опять его три дня не видно.

Ест он два раза в неделю, по вторникам и субботам. Его хотели было показывать, да старец воспротивился... Так и сидит в затворе. Прежде он на Афоне был — не по душе ему стало там. Суеты много и пререканий, ну и устав не столь строгим показался ему. Он и пошел гулять. Местов искал. До Москвы добрался — приютила его у себя купчиха одна. Малое оконце и келия малая была у него в подвале. Он и говорит: я затворюсь — молиться стану, а вы меня не тревожьте... Затворился. День, другой, третий — на четвертый всполошились все, не случилось ли чего со старцем. На пятый силой отворили дверь, а он лежит перед иконой, распростерся ниц. Вдохновение на него нашло духовное. Без пищи и питья пребыл. Ну, благочестивая купчиха испугалась, как бы не вышло чего, просит его уйти. Оно, положим, Бог, но ведь и полиция тоже! Ушел. К нам тут явился. Отец Никандр ему в гостинице номер отвел. Опять затворился, да четыре дня снова без пищи и без питья. Тут его отец Дамаскин призвал. Ты что, говорит, братию соблазняешь? Если хочешь спастись, ступай в скит. Он и пошел. И ведь

какой старец утешительный! Приезжают богатые благодетели из Москвы. Знают его. Зовут. Он к ним приходит и все у них ест и пьет, хоть и с сокрушением, а все!.. Чтобы не возомнили о нем, как о сосуде с гордыней сатанинской. А теперь смолк и не говорит уже ни слова. От людей уходит. С Господом и наедине все!

— Да ведь есть-то надо же?

— Ему положено три тысячи поклонов в день, две тысячи поясных и тысячу земных. Да сверх того он должен прочесть сколько параклисов, канонов, акафистов[136]. Если бы он ел, ему бы никогда не исполнить этого послушания. Оттого и не ест. Ему и думать некогда.

— Так, значит, нам отца Антипу и не удастся видеть?

— Нет! Блаженный старец сегодня не покажется нам. Затворился!

Строителем здесь отец Георгий. Устав скита строг. Псалтырь читается день и ночь. Каждый из братии по очереди читает два часа днем и два часа ночью. Скит почти все сам на себя производит. Монастырь дает ему

только хлеб. Таким образом, братья и здесь не приходится вести жизнь созерцательную, а, напротив, работать в поте лица своего. О. Георгий был долгое время "на Иоанне Предтече". Тот скит, отдаленный, с безмолвниками и скудостью, был ему более по душе.

— Ах, как бы опять хотелось туда! — вздыхает он. — Хоть послушником...

Заговорил я о том, как такие молодые люди могут уходить в скиты.

— Молодым очень полезно. В обители не спасешься. А тут они и не видят, и не слышат, и на сердце не приходит.



*Тон у него грустный,
очи долу.*

Тон у него грустный, очи долу. По худому лицу какие-то страдания, оставив след в его тихой улыбке и в этом задумчивом взгляде печальных глаз. Говорит он едва слышно,

медленно, как бы думая, стоит ли говорить.

— Читаете ли здесь что?

— Духовных книг сколько угодно... Времени нет.

Газеты запрещены. Журналы и вообще периодические издания доступны только "начальству" обители. Монаху не подобает, да и работе оно мешает. К старому тянуть начнет, если не совсем в сердце умерло.

Вглядываясь в этого монаха, я думал: нет, старое совсем умереть не может. Недаром человек бежит из обители в скиты, "чтобы на сердце не приходило". Пока закостенеешь, сколько муки самой лютой примешь на себя. И хорошо, что не умирает старое. Хоть грусть о нем да связывает человека с жизнью, не во все делает его аскетом, трупом!

Я вошел на колокольню церкви. Вид отсюда красоты изумительной. Целое море леса кругом... Шумят внизу его вершины. Точно плывешь над какими-то зелеными облаками. И не один плывешь. Вон за несколько верст белый весь Валаам тоже плывет и тоже охваченный отовсюду зелеными облаками. Солнце ударило в него. Весь засиял Валаам... За-

светился где-то далеко и золотой купол заброшенного в лесное царство скита... Хорошо дышится... Как бы и жилось хорошо, если бы...

— И на природу соблазняться грешно! — слышится позади печальный голос.

— Как? Да ведь это творение Божие...

— Небом любоваться еще можно. Устрями в него око твое и ищи знаменья, там ангелы! А эти леса да горы на землю тянут... Мирским веют. Как туман, от них греховные помыслы идут. Особенно весной, как зацветет да запахнет... Голову кружит — слова молитвы на языке останавливаются... Одно спасение — в церковь и ниц. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Сказывают, далеко земли такие есть — море да камень. Зима десять месяцев. Никакой травки... Лишай один по камню, да мох где-нибудь в низине. Небо тоже грозное там — все в тучах. Вот бы где обитель устроить. Где бы спастись! Хорошо!

Колодезь и здесь обшитый тесаным гранитом. Выбурен порохом в камне. Вода стоит "как в кадке". Колодцы все вырыл и устроил о. Дамаскин... Он же и деревья насадил... Клен

перед кельей строителя — точно круглое облако. Сад тщательно содержится. Прибран весь. Тут "голая луда"[137] была, земли навезли и развели "кущу"[138]. Под деревьями расчищено так, что упавший с ветви листок и тот уносится.

— В свободное время над садом больше работаем. Знаем, что игумен любит его, ну, так почитаючи его. Недавно приехал сюда отец Дамаскин. Немоощный уже. Ни рукой, ни ногой. Посмотрел на древа свои. Сказать ничего не может, только слеза у него катится. Истинно премудрый старец был.

— Ну и Господь благословил его начинания!

— Силу ему дал, да творит во славу Его.

В келье строителя портреты старцев, почему-либо прославившихся в этом ските. Один из них, о. Афанасий, отличался чисто монашескими добродетелями; ненавидел людей, прятался от них в дебри лесные, не принимал посетителей, жил один. Веки надвинулись на глаза, холодный взгляд, жесткое лицо, сумрачное, ничего не обещающее. Был он тульским оружейником и постригся в монаше-

ство в 1821 году. Пройдя степени келаря[139], очередного чтеца в скиту, ушел в пустыню, где и провел в уединении полном двадцать долгих лет. Даже иноков он не принимал в свой сруб. Когда ему говорили, что мирскому богомольцу беседа его принесла бы утешение, отшельник с чисто монашеским эгоизмом [140] отвечал:

— Я за них Богу ответа не дам, а за себя непременно истязан буду!

Пробовали его понимать воспоминаниями детства. Один инок стал ему рассказывать о его родине, Туле, какие там ныне широкие улицы, постройки прекрасные и т. д.

— Брат, скажи лучше, много ли понадобится досок для моего гроба и велик ли холм земли подыметя над моим прахом?

По поводу его кончины даже видения были. Схимонаху Михаилу почудилось, что в церкви собралось многое множество духовных чудной красоты и в дивных светлых ризах. Они лобызали друг друга и кланялись одному старцу, носившему на себе, на плече, красную ленту с белыми цветами. Когда же на другой день схимонах Михаил подошел

проститься к новопреставленному, то почувствовал во всем существе своем "неизъяснимую перемену" и лобызал мертвеца "со сладостью". А вот еще тип монаха — Антоний из вольноотпущенных. Он провел в пустынном уединении тридцать лет. Потом игумен Варлаам перевел его в обитель. Тут он все время отказывался от мантии и ходил в крашеном подряснике в заплатах — за то, что оставил "многолюбезную пустыню". За трапезой, сидя в отдалении один, он все кушанья смешивал в одно общее месиво и пожирал его, "лишая себя услаждений пищей". Еще рясофорный монах Федор Косенков. Этот был секретарем при курском губернаторе Веревкине. Он вообще говорил слова в "простоте сердца". За одно из таких Косенкова посадили в холодную[141], где его стали есть крысы. Испуганный, он дал обет постричься на Валааме. Так и сделал. В обители он был известен тем, что никогда и никто на нем улыбки не видал. "Постоянно, бывало, вздыхает..." Схимник Феоктист был иного закала. Он никогда не омывался, почему тело его было в язвах и распухшее. Ни язвы, ни недугов никогда не ле-

чил и о них никому не говорил. Также и Серафим тела своего не обмывал. Вследствие этого от плеч и до пояса со спины его сошла вся кожа. Силой накладывали на его раны живительный пластырь, но, оставаясь один, схимник сдирал его. Вся келья его была пропитана тяжелым запахом, но когда он умер, и келья, и тело его "источали благоухание, а язвы его ран благолепно покрыла тонкая кожица". Еще интереснее, хотя и в том же роде, был о. Михаил. Он был в Соловках, любил уединенную жизнь, много лет провел в пустыне, истязая себя жестоко, носил ветхое рубище, пищу употреблял суровую; когда она загнивала и покрывалась плесенью, схимонах говаривал:

— Ничего, что попортилась, все равно, исполняет телесную нужду!

Этот тоже, перейдя на Валаам, келью занял крошечную, никогда не позволял ее мыть и сам не мылся. Духота у него была нестерпимая.

А то вот еще монах — Христа ради юродивый Антон Иванович. Этот так и являлся зимой и летом в одном рубище. Принимал все, что ему давали. Ел всякую гадость.

— Свинье все годится, я съем! — говорил он.

Иеромонах Никон, тот славился тем, что много лет подвизался в пещере, которую сам вырыл. Там с иноком поселились ужи, и он вместе с ними пребывал в вечной темноте, не озаряемой ни солнцем, ни луною.

Когда мы плыли из большого скита — направо выростали громадные, серые скалы. Мох по ним цепляется до самой воды. Деревья едва держатся в трещинах. Осока книзу густая, обильная. Монастырю и она нужна. Как лед окрепнет, она над ним и остается. Ее косят на подстилку скоту. Уловы тут бывают большие. Пуда по полтора зараз попадет в невод, а то изредка и по десяти пудов выволакивают разной рыбы.

— Как богоносцы наши повелят, столько и рыбки попадет!..

Залив едва вздымался... Точно он дышал полною грудью, но медленно, ровно, спокойно.

Отсюда опять канал. Его порохом вырвали в сплошном граните, который приходилось бурить под водой. Наверху набросили мостик

для проезжей дороги. Течение тут сильное, и оно быстро вынесло нас к обители...

— Ну, что, видели? — встретил меня отец Никандр.

— Видел!

— И удивлялись, поди? Сколь вы земель объехали, но Валаам — в лучшем виде!.. Схимников наших встретили? Красота духовная. И все от разных стран и народов... Иной раз сам человек не знает, что его в схиму обратит. В одном монастыре было: некий легкомысленник просфоры[142] с образа у тетки украл, а Господь его за это в схиму привел.

XVI

Монах тоскующий

Дорога — лесом.

Солнце, сухой стрекот кузнечиков. Монастырские овсы остались позади — густые, дородные. Кругом по Ладоге неурожай, а тут точно невидимая сила помогает, всего же вернее — обилие лесов и горы, закрывающие поля от непогоды.

Иду один куда глаза глядят; топь встретилась — топью. Лягушечья мелочь в траве прыгает чуть не из-под самых ног в стороны. Черный дрозд вверху поет свою заунывную песню. Невольно останавливаешься, чтобы не пропустить этих грустных-грустных тонов, совершенно под стать сумрачному северному лесу. Вот — мелководное озеро, осокой по краям поросло. Утки полощутся. Солнце в нем горит тысячами ярких бликов. Смолк и дрозд; тишина совсем, только листва шумит, да и то временами, точно кто вздыхает в чаще. О чем?.. Прелестный уголок этот "зимниками" называется. Вон узенький мысок и выход в море. На самом носу у мыска дерево подня-

лось — кудрявое, веселое, все к свету, точно пронизано им. Вон другой мысок; рощица на нем тоже под солнцем млеет. Сквозь нее небо видно.

— Что за прелестная пустыня! И главное — ни одной черной рясы подле... Улеглось старое горе, точно его и не было никогда. Точно еще вчера, в бессонную ночь, не томило оно на жесткой постели в келье, где самые своды будто давят и гнетут живую душу. "Коли бы горя не было. Бога бы не было", — говорят монахи. "Зачем тогда Бог?.." Вон стрекоза проплыла мимо в теплом воздухе. Сквозные крылья ее блещут на солнце. У нее горя нет до зимы, а зима — смерть. Хорошо, когда за горем смерть идет, если вместе они. Легко тогда... Как пришибет, так и заснешь, а во сне всякая скорбь сносна... Проснешься ли только? Да и к чему просыпаться? Не стоит...

Прошлогодний лист хрустит под ногами. Где-то утка разоралась громко, громко... Ей такой же ответ из другой заводи... Разговор пошел. Это место сухое выдалось — мягкое, мох пушистый выстлал его. Сверху клены раскинулись и протянули ветви над этою пу-

стынькой... А солнце все-таки со стороны бьет в нее. Улегся я — мягко, сухо, чудесно... Кто-то стал между солнцем и мною. Когда я открыл глаза — высокая, худая фигура. Мертвенное, страшно бледное лицо; некрасивое, только глаза на меня чуть не пламенем пышут; подошел поближе — несомненно, молодой человек, а какие морщины на нем.

— Здравствуйте!

Низко, низко поклонился. Хотел было мимо пройти, да что-то в памяти мелькнуло.

— Вы NN? — назвал он меня.

— Я...

— А меня Не узнаете? Всмотритесь... Переменился?

Сколько грусти в этом молодом голосе...

— Не ошибаетесь ли вы?.. Положительно не помню!

— О-в!

Я вскочил — так было это неожиданно. Встретить товарища детских игр — и где же? На Валааме!

— Давно слышал, что ты... вы здесь!

— Пожалуйста, друг, по-старому!

— Эх, старое, старое!.. Коли бы вернуть его.

Помнишь ли ночи, когда мы, бывало, по набережным шлялись до утра? Луна светила нам, ясная... И жизнь была ясная... Мечты о счастье общем, о подвигах, о великодушии, И в конце концов — жертва за всех, крестная смерть... Какие сновидения!.. Где они? Куда ушли?.. Какой ветер их снес? Еще ты работаешь, знают тебя... А я... видишь? — показал он на черный клубук.

— Скажи, как ты попал сюда?

— Что спрашивать... Не все ли равно? Много под рясой схоронено. Не следует вырывать мертвецов!

— Изменился... Похудел... Седой совсем...

— Да... Это в последние шесть лет... Не все снами да грезами длилось... Как листья осенью, облетел. Пнями голыми стали мы. Снег кругом, холод... Небо в тучах... Тучи и в сердце, безрассветные...

— Ты по-прежнему поэт?

— Нет, это тебя увидел. Сегодня я послушание свое рано кончил, вот и хожу!

— Что ж ты раньше ко мне?

— В келью-то? А порядки наши? Поди, спросись... А спросишься, еще благословят

ли... И в гостинице то и дело братия бы снова-
ла. Что да как? Пробовал ли ты сажать, ну,
хоть стрекозу вот эту в муравейник?

— Нет! — удивился я.

— А судьба сажает. Ей, стрекозе, солнца,
воздуха надо, а там — темень. Работа там
идет подземная... Все работают... А зачем —
никто не знает. И крылья остались, да лететь
некуда!

Сел около меня, охватил колена руками и
задумался.

— Помнишь, мы раз с тобой на Николаев-
ском мосту стояли? Вечер был сумрачный,
темный, река, точно свинцовая, струилась
под арки... Я и говорю тебе: коли бы мы зна-
ли свое будущее, так, может быть, оба — че-
рез перила туда, на дно. У тебя тоже с той по-
ры было много... И падал, и подымался... Я
знаю, слышал, да ты выстоял — боевая нату-
ра. А вот я — нет. Не хватило силы, тишины
захотел; а где тишина, как не на Валааме? И в
муравейнике тихо... Ты знаешь, я женат! То
есть был...

— Овдовел?

— Нет, она жива!

— Из-за нее? — не dokonчил я.

— Да... нет... Другому бы прошло, а меня сломило!

— Где она?

— В Петербурге. Тоже мученица... Знаешь, уж не люблю я ее, а так мне ее жаль, так бесконечно жаль... Загубила она, и себя и меня загубила... Ах, натура какая была!.. Чистая, честная... Без удержу на все!

— А виноват кто — она?

— Кто?.. — Монах потупился. Слезы стали в глазах. — Я виноват... я один... Ее не хочу мыслью даже обвинить, не токмо словом. Бог с ней!

— Как же случилось это? — взял я его за руку.



*Сел около меня,
охватил колена руками и задумался.*

Сел около меня, охватил колена руками и задумался.

— Случилось?.. А вот... Ты знаешь, увлекался я всегда. Такая уж натура. Во Франции меня бы на баррикадах убили, в Италии под ножом бы умер. Ну, а у нас ни баррикад, ни ножей, зато вот такие могилы для живых есть! — махнул он головою по направлению к монастырю.

Оттуда в это время зазвонили, и тягучие удары колокола всколыхнули на минуту торжественное молчание этого зеленого царства.

— Да вот такие живые могилы. Увлекался я, ты знаешь, часто, много. Узды на себе не чувствовал... Свободой дорожил... Ну, она все видела, все знала!

— Жена?

— Да. Томилась, терпела, таяла... таяла... Целые ночи навзрыд плакала — потом уж я все это дознал, — да вдруг и сломала. Я сюда вот... в живую могилу... А какая душа была!.. Какая душа — чистая, святая, светлая! Как сквозь стеклышко вся насквозь видна была!

— Неужели спасти нельзя было, увезти?..

— Пробовал. Куда увезешь, когда недуг в

ней самой, куда?.. Всюду его за собой таскает... Раз, наконец, ушла и год пропадала. Эх! Где брат, те ночи светлые, те грезы молодые?.. Жизнь-то, жизнь какая мерещилась! А теперь я что? Вон прошлогодний лист на грязной дороге, под ногами у всех... затоптанный... А знаешь, и теперь ночи бывают... Ах, какие страшные ночи... Дети мои, дети!

Слова утешения показались бы пошлыми ввиду такого горя. Я молчал.

— Знаешь, я думал, здесь труд свыше меры — утомлением убить, работой. Не убил горя... Измаешься, устанешь, уйдешь в келью, смертный сон морит. Ляжешь, заснешь... А через час вдруг точно что в сердце толкнет. Встанешь — и дышать нечем, воздуха точно нет. Грудь в тисках... голова тяжела, тяжела... Душит всего... А в глазах длинная улица. Дождь сечет, под дождем она бежит пьяная, грязная. Бьют ее — и все это по больной душе. Душа у нее больней моей. Думаю, бежит она теперь и разоренное гнездо вспоминает, детей отнятых... Вскочишь с койки, как бешеный. Нет мочи, грудь сжимает... Заплакать бы — слез нет. Во двор уйдешь — темень. Ска-

зять некому... Можешь ли ты понять это — сказать некому!.. Ни одной души! Услышать слова не от кого. Ах, друг мой, друг мой! К духовникам[143] кидался. Да разве это люди, разве люди? "Таковую мать и жалеть нечего, — говорят. — Какая она мать, если единородных чад бросила? И греха на тебе нет", — утешают. Да разве я о грехе, да разве я греха боюсь?.. Будущего искупления? Мне ее жаль — не понимают они, — ее одну жаль!..

— Ты не должен был уходить в монастырь... Этим не спасешь ни себя, ни ее.

— Знаю, знаю... Поздно! Мне иногда кажется, я бы лучше сделал, если б убил ее и сам на каторгу ушел... И ей бы легче и мне!

— Ты прав! — согласился я, оценив весь этот ужас.

— Лучше было бы, лучше... Прощай! — порывисто встал он. — Прощай!

— Куда ты?

— Ах, опять душит... Уйду в лес... Прощай!.. Ночи мне страшны, ночи... Прощай!

— Увидимся?

— Нет, зачем... Прощай!.. — уже донеслось до меня издали, и черная длинная фигура со-

всем пропала из глаз...

Наконец, и в этой общине упорных рабочих и крестьян-монахов нашелся хотя один тоскующий инок. С его появлением вся эта обитель уже явилась передо мною в ином свете. Уже не было так противно самодовольствие примиренных черноризцев. Точно вдохнули сюда душу живую.

В монастырских садах. — Отец Никанор-садовник

"Да, полно, на севере ли я?" — думалось мне, когда я осматривал валаамские сады. Один из них под монастырем. Длинная аллея яблонь ведет в него, вся опушенная белыми цветами, благоухающая.

— Это у нас белый налив. Он всегда дозревает, а остальные сорта, случается, хоть и редко, не выходят... А белого налива мы страсть сколько собираем! Здесь еще что, а вот в другом саду, повыше, истинное изобилие плодов земных! Там у нас куда лучше... Тем садом чудесно верховодит отец Никанор. Он прежде в Гатчине был аптекарем. Я у него здесь и учился садоводству этому.

Объяснял мне все это о. Степан, красивый монах из корел, молодой еще, строго следящий за тем, чтобы мальчишки-трудники не воровали у него ягоды.

— Беда! Чуть не усмотришь, в каком-нибудь кусте уж копошатся!

Беседка, густо заросшая акациями, манит в

свою прохладу и тень. От сегодняшней жары настоящее спасение. Несколько лет назад здесь был крутой спуск, и только. Место это понравилось иеромонаху Гавриилу, из богатых купцов.

— Благослови саду тут быть! — обратился он к о. Дамаскину.

— На свой счет станешь разводить?

— Для обители отчего не потрудиться!

Сделали площадку, навезли сюда плодородной земли[144] и, при помощи дарового труда братии, в самое короткое время разбили прекрасный сад. Первое время он давал девятьсот четвериков яблоков, а теперь только сто — недород ноне.

— Мы и братию сюда не пускаем. Строго... И без того все из сада в трапезу братскую идет. Плоды поспеют — плоды, из ягод тоже. Себе ничего не утаиваем!

Другой сад верх роскоши. Я приглашаю любителей садоводства съездить на Валаам, благо недалеко. Регелевские[145] в Петербурге не выдерживают сравнения с этим. Он находится под управлением о. Никанора, серьезного и умного монаха, глубоко изучивше-

го это дело. Помимо сведений, он страстно любит природу и воспитывает ее у себя с такою нежностью и вниманием, с какою могла бы воспитывать только мать своего ребенка. Он очень сумрачен, когда говорит с вами, молчалив; но нужно видеть, что выражается в его лице, в его глазах, когда он смотрит на чудеса, созданные им здесь, — разумеется, чудеса для севера. На одном дереве, например, привито девять сортов яблоков разных цветов и величины — одни маленькие, другие в полуфунт весом.

— Как поспеют, иллюминация какая! — гладит он, проходя мимо, это деревцо. — Одно сквозит, а другое словно налито густо-густо... Еще привью... Пусть только яблонька пуще в силу войдет...

— Вот Она! И деревом ведь назвать нельзя — так, кустик маленький!

— Это — вишня?

— Шпанка... прошлым летом здесь от засухи осыпались плоды!

Тут же небольшой пруд. На нем плавают лебеди.

— Откуда вы их добыли?

— Дикие были. Позднею осенью летели, от стада отбились. Подняли мы их больными — отморозили, должно быть, лапы, — ну, отходили их и приручили. Теперь у нас живут, а на зиму мы их в сарай прячем!

Отец Никанор заменяет в обители и врача. Впрочем, для всех окрестных мест он единственный целитель. От одной глазной болезни к нему ходят лечиться человек пятьсот в год и еще более — от чесотки; случается — и от зубной боли. Всего монастырь за свой счет пользуется от трех до четырех тысяч.

— Был страшно тяжелый год — 1868-й; тогда к нам в обитель до пяти тысяч больных явилось!

— Администрация тогда доносила, что голода нет, а только одни пустые слухи!

— Какое слухи! Да тут по Приладожью от голода до пятидесяти тысяч человек примерло! Доноси, пожалуй, что хочешь... Им легко! Голод не голод — жалованье свое получают!

Роскошная папоротниколистая липа шумела над нами... Ветра не было, зато в ее золотистой чаще гудели тысячи пчел.

— Это дикие все к нам пожаловали. Тоже

обителю питаются Божьи работнички!

Им эта липа — что гостиница, только что денег не берут!

— Странноприимница!

— Веселое дерево... Иной раз задумаешься внизу, а пчелы гудят над тобою, точно лес вдали шумит, либо волны по взморью ходят.

— Жалят?

— Нет, нас не жалят. Примеру не было... Она, пчела эта, страсть табаку не любит... Ежели бы кто табаком занимался — ну, тогда... Только у нас некому!

— И тайком не курят?

— Как знать, что в сокровенности совершается. А только, я так полагаю, не малодушествуют вовсе. Какая от него, от табаку этого, польза? Грудь сушит, ну... и в мыслях как бы затмение! — пояснил о. Алимпий, выходя со мной из этого прекрасного монашеского "вертограда"[146].

XVIII

Ссылные

Тут на смирении бывали и интересные люди.

Вот, например, протоиерей Левашов. Он попал сюда за то, что покойному императору Николаю Павловичу написал "отеческое увещание" в защиту крестьян противу откупов [147]. Сначала думали, не сумасшедший ли он, потом привезли его сюда. Здесь он оказался старцем прозорливым и мудрым. Притекавших к нему богомольцев сладкими словами утешал несказанно. С монахами он сходился не особенно. При первой возможности Левашов оставил Валаам и перебрался в Глинскую пустынь [148], где и умер схимником Парфением.

Об этой интересной личности я довольно настойчиво собирал сведения, но не добился ничего, у кого ни спрашивал.

— Знали Левашова?

— Знал. Тут он в ските Всех Святых у нас был!

— Расскажите!

— Не подлежит!

— Да почему же не подлежит? Сколько времени прошло?

— По политической прикосновенности, как же... А потом просто рукой отмахивались.

Старцы валаамские не только жизнь ведут скромную, но и на язык куда как осторожны, даже свыше меры. Простодушных соловецких типов тут мало. Народ выдержанный, замкнутый. Говоря с вами, они изучают вас и взвешивают каждое слово. Здесь воистину соблюдается правило — "во многоглаголании несть спасения". Даже образованные монахи как-то дичатся и держат язык на привязи. С мирским человеком, видимо, настоящей дружбы не сведут. Как ни прост душою был, например, о. Алимпий, которого за искренность называли "прелестным" старцем[149], но и тот смущался.

— Ах, милый, — в припадке любви изъяснялся он, — и сказал бы я тебе, да ведь вон у тебя книжка. Чиркаешь ты в нее все... Тебе скажешь, а ты сейчас — чирк. А Господь знает, на пользу ли это святой обители. Может, ты и иновер какой?

— Вот еще! — запротестовал я.

— Да вон у тебя взор какой... Легкий... Вольный у тебя глаз... Страх не видно. А тут, знаешь какое дело, страх надобен. Ах, и какой еще страх надобен! Чтобы душа в тебе трепетала, чтобы всякое помышление твое было: Господи, помилуй мя грешнаго! А ты вон все в книжку. Я уж и то думаю, православный ли ты?

— Как же иначе?..

— Постой!.. Вон сказывают, армянские люди тоже Христа не отрицаются, а левой рукой крестятся!

Неправда!

— Ну, вот, благодарю, утешил ты меня в печали моей! А то я все за них духом скорбел. Как же это так, думал, в Христа веровать веруют, и левой рукой?.. По левую-то руку, ошую [150], знаешь ли кто? Дух зла!.. А все же настоящего трепета в тебе нет. Это ты, брат, как хочешь, а нет!.. Может, и вера есть, а страха — нет! Да как же перед могуществом Его?.. Одним дыханием своим убить Он тебя может, а ты трепетать не хочешь. Дух в тебе гордыни мятется — вот что!

Смолокурня. — Известковый завод

— Не угодно ли нашей смолокурней полюбоваться? — пригласил меня как-то о. Виталий, обязательный и симпатичный монах, попавший в обитель из петербургских мещан. — Знакомое вам дело?

— Как же, на севере я видел у крестьян!

— Что у крестьян! Монастырь это дело большим хозяйством ведет, на широкую ногу!

— А именно?

— Заводски. Приспособления мы особые придумали. Сами увидите. Вы как думаете, наша курня съедает пятьдесят сажень дров да пятьдесят сажень пня. Всего выгоняется сто восемьдесят девять пудов скипидару. Наш скипидар в Петербурге известен, высоко ценится — чистый, как слеза. Курню нашу рабочие страсть не любят! Мы монахов ставим.

— Почему?

— Да, вот, не угодно ли рубить пни?.. Самое каторжное дело: двое рабочих над саженью провозятся неделю, и уж если очень хорошие

трудники — ну, полторы нарубят. А и платы всего за сажень рубль. Зимой только и находим на это дело рабочих. Бескормица у них, они и идут. Все равно ему — с голода дома пухнет. Тут народ бедный. Иной раз из-за пятака-то потеет, потеет. Тут такой народ, что, если умер человек, прямо его в рай, потому он натерпелся. Вы как полагаете: нарубил да и кончил? Нет, сначала выворочай пни в лесу, из земли, либо вырубь их, доставь сюда, да здесь и руби. Да еще очисти их от грязи, потому грязный пень, какую он смолу даст?

Смолокурня хорошо отстроена, только вся прикончена. Внутри две громадные печи. Внизу у них стоки для воды и смолы. Вышина каждой печи — две с половиною сажени, в диаметре — две сажени. Помещение для дров сбоку; отсюда жар идет внутрь, спиралью, по особо устроенному ходу...

— Летом печь не работает. Никто сюда не ходит — ишь, как запустело!

В темноте на полу поднялись даже какие-то противные белые грибы. Пахло смолой и скипидаром. Липкие черные лужи стояли по углам...

— На все своя очередь у нас. Первые четыре дня скипидар идет. В первый день три пуда из каждой печи, во второй — два, а на пятый уж смола течет. Скипидар вверх испаряется, выводится в холодильник трубками, а смола вниз бежит.

— Почему же летом не работаете?

— Да потому, что для холодильников очень студеная вода нужна и лед...

Тут с котлами требуется страшная осторожность.

Дрова и пни, положенные в них, от действия жара преют и обугливаются. Стоит попасть туда частичке воздуха, и они вспыхнут. Взрывом все эти кирпичные кладки и сараи разнесет во все стороны.

— Пуще всего боимся этого. Все дыры замазываем крепко-накрепко. Работа зимою идет на две смены — денно и ночью, без отдыха, потому что печь затопишь уж на всю неделю. Сразу на сорок пудов смолы да на десять скипидара рассчитано.

С каждой топки остается 30 кулей угля, который, в свою очередь, служит для кузницы и слесарни. Работа идет так: в воскресенье печь

остывает от старой топки, а в понедельник выгребают уголь, насаживают на его место свежие пни и затапливают. Зола и пудра угольная остается массами, но ее не бросают; она идет на обкладку водопроводных труб, чтобы не ржавели летом и не мерзли зимой, а следовательно, и не лопались. Остальные дни — вторник, среда, четверг и пятница — парится и течет скипидар и смола. Ну, а в субботу, ввечеру, кончается все дело. Теперь вокруг смолокурни и в ней самой мертвая тишина. Только лес шумит кругом, да посвистывают коростели по оврагам.

О. Виталий шесть лет пробыл на смолокурне. Всякого почти монаха гонят сюда на первых порах. От грязной работы никто не вправе отказываться. О. Пимен кандидатом университета сюда приехал, да и то в смолокурню поставили. Дамаскин чернорабочих монахов приводил в пример остальным. По старому своему крестьянскому свычаю, ужасно любил он этот "грязный" труд.

— Бывало, с субботы на воскресенье вернемся в обитель, — рассказывал о. Виталий, — несет от нас за версту смолой. Братия

которые морщатся, а отец Дамаскин сейчас: "Поближе, поближе ко мне, отцы! Эх, как хорошо пахнет от вас, спаси вас Господь, — видимо, трудились, не белоручничали!"

— У нас этих чистоплюев нет, чтоб совсем гнушались, а все же неприятно, — пояснил другой монах. — Раз к нам из другой обители чистоплюя такого прислали на смирение. Он было носом повел, а отец Дамаскин его самого сейчас на смолокурню послал. Отучился. Потом ему этот запах уж не претил... Грехи!

— Вы у аптекарей поспрошайте о нашем скипидаре. Мы его так очищаем, что он у нас ничем не пахнет. Вот в склянке понюхайте!

Действительно, запаха не было вовсе никакого.

— Как же вы этого достигаете?

— А это секрет наш. Сами придумали, сами и делаем!

От смолокурни недалеко было до известкового завода. Он построен весь из огнеупорного кирпича, приготовляемого в самой обители. Внутри сарай заваливают кусками белого мрамора и восемь суток топят несколько печей, устроенных в стенах его. Когда мрамор

таким образом обожжется, он рассыпается известкой. Сразу укладывается сюда двадцать четыре кубических сажени камня. Всех печей двенадцать, по пяти с каждой стороны. Сначала завод этот поставили из простых кирпичей, они стали плыть; тогда наместник, о. Афанасий, начал употреблять огнеупорный. После того как известка готова, завод два дня остывает.

— Ночью зимней здесь наподобие как бы ада! Печи пышут, жаром объемлют... Думается: "Господи, уж ли же как помрем, так же будем, вроде пней этих, в непрестанном огне гореть?.. Ну, испугаешься! Иной по своей жестокривьюности и не умилился бы, а как сюда придет, да посмотрит, да одумается — смотришь, слезу прольет и взмолится. Шум тут у нас тогда, большой шум, треск. Камень трещит, дрова тоже. Искры летят под самое небо, а кругом тьма кромешная. Зимние ночи такие бывают, что в двух шагах ни зги не видно!

— Особливо молодым, непривычным, трудно. У печей жар, а выскочит — морозом его охватит. Другой прямо отсюда в больницу,

коли не побережется.

Нужно так: влез в жару, так и сиди в ней, не остывай, иначе беда, — сведет совсем, очумеешь... В субботу-то придешь в обитель, словно ты в рай попал.

На смолокурне и на известковом заводе исключительно работают иноки.

Под ярким солнцем

— Сегодня я вам покажу красоту нашу дивную, — вошел ко мне о. Пимен. — Вставайте-ка... Спаси вас Бог!

— Куда мы направимся?

— В скит Александра Свирского[151]. Места увидите — скажете, куда-нибудь на далекий юг попали, в Крым, что ли...

Дорога шла лесом, густым и красивым, и каков бы ни был зной, тут вечная прохлада. Тесно обступают путь в самом разнообразном смешении березы, сосны, клены и ели; на горы взбираются, с гор по откосам сползают в лощины, скалы опутывают цепкими порослями. Часовенка в лесу словно охвачена зелеными облаками. Ветви рвутся в окна, ревниво сторожат двери. Гранит то и дело взрывает почву; иной раз у самых корней лесного великана острый гребень утеса борется с мягким мхом и желтыми лишаями. Вот-вот заткнут его совсем... Издали еще слышны волны... Ладога бьется в берег, словно и ей хочется додраться до этого красивого, тихого, словно за-

колдованного царства дремы и тени. Избушка на курьих ножках у самой воды. Думаешь, баба-яга выйдет, а вышли иноки.

— Наши рыбаки!.. Ну, как дела. Господи спаси?

— Ловится, ничего. Господь посылает... Благословенная сама в сети идет!

— Потрудитесь, потрудитесь, отцы...

Три большие соймы вытащены на берег. В голубом просторе четвертая скользит под парусом. Каменная отмель; на ней сети раскинуты, сушатся под солнцем. Парус около, тоже сушится. Часовня далеко в Ладоге, насыпь к ней с берега. Просто завалено озеро камнями, на каменья щебень наброшен, а по щебню дорога. Море (будем уж так называть Ладогу) бьется в подножие часовни, окружая ее каймой белой пены. Море бьется и в длинную насыпь. Уныло посвистывает какая-то пташка.

— Тут вода дерзновенная! — заметил один рыбак-монах.

— Почему это?

— На Савватиевскую часовню посягает. В непогодь волнение стихий таково, что до

кровли ее забрасывает. А через дорогу-то сплошь волна перекидывается, ходуном ходит. Мы раз даже иконостас оттуда выносили — думали, размечет святыню. Таково было борение, но токмо стихия утихла, а святыня и доселе стоит. Так и в жизни. Если кто Богу верен и на ангела своего хранителя уповает, волны моря житейского хотя и вздымаются отвне, а душе его сделать ничего не могут, и стоит он безмятежно и благолепно!

Когда мы шли к часовне по этой насыпи, в совершенно покойную погоду, волны Ладоги лизали наши следы, с глухим шумом набегаая с востока. Что за красивые виды отсюда! Направо — длинная линия берега, пропадающая в ослепительном блеске солнца; прямо — открытое море; налево чуть виден островок, весь покрытый соснами, весь млеющий в жаре и в свете, точно окутанный золотистым облаком. Вечный шум волн, вечное колыхание ветвей...

В сентябре тут праздник. К тому времени отлично ловится пальья-кумжа[152], и из обители братия съезжается сюда на ловы.

Даль морская — совсем воздушная. Не от-

личишь, где море сливается с небом. В бесконечности и небо видно, а черты, отделяющей их одно от другого, нет. Точно в сказочном царстве — так и ждешь, не блеснет ли где-нибудь облачная колесница Царь-Девуцы, не разрежет ли воздух золотое перо Жар-Птицы. А волны ласково-ласково шепчут, точно милые вести несут откуда-то из милого, дорогого края. Небо сегодня — то же, что и вода. Вода здесь — то же небо, только струистое.

С рыбаками-монахами — целая артель рыбаков — мирских трудников. Этых около двадцати, все здесь с самого детства. Головой у них Тит; он лет тридцать при обители, а всего ему сорок два года.

— Мы сюда еще пойгами поступаем!

— Что значит пойга?

— Пойга — мальчик! — пояснил Пимен.

— Были пойгами, а теперь стали укко. И все при обители!

— А укко — старик. По здешнему говору так выходит. Самые это надежные люди у нас, которые так-то сызмала... Ишь, бережок-то, точно полированный!

Гранитные отвесы блистали на солнце; со-

всем темная в их изгибах билась вода.

— Ну, рыбаки, потрудитесь лодочку!

Лодку подали. Поплыли мы налево, в целый лабиринт островов, которые все выходят сюда своими мысами. Лодка прихотливо скользит по капризным приливам, изгибается по сторонам, точно ей самой хочется насмотреться на эти тихие приволья, безмятежные заводи. Блестящее голубое небо струится под нами, блестящая голубая вода недвижно застыла в недосыгаемой выси. И опять задаешься тем же вопросом: где вода, где небо?.. Или все небо крутом, или все — вода?..

Мне никогда не забыть этой очаровательной поездки.

В самой глубине широкого пролива виден крутой берег острова, на котором стоит скит Александра Свирского. Весь он — красивой, правильной формы. Точно на каменном пьедестале вырос лес. Крутизна обрушивается налево, правый конец его полого сходит в воду. Над крутизной блещут какие-то искры: это — часовня и храм скитский. Долго остров запирает выход из пролива: только когда лодка подплыла ближе, направо и налево блес-

нули серебристые просветы.

Необыкновенно странен этот остров; точно один цельный камень, кверху оцетинившийся густым лесом.

— Истинно святой! Название-то, спаси Боже, как подходит! Истинно святой! Святому и краса такая подобает!

Я видел до своей поездки сюда рисунки валаамских видов, видел снимки с этого острова, но они не дают никакого понятия о всей этой прелести. Вокруг острова разбросано много иных, и все один краше другого. Когда лодка наша всплыла в этот архипелаг, между островами легли во все стороны живописные и спокойные проливы, где вода тиха, как в чашке, и так прозрачна, что глубоко видны в ней гранитные изломы дна, палья, пробирающаяся в тихие пристанища неподвижных недорослей, юркая щука, гоняющаяся за какою-то мелкотой.

Крутизна Александра Свирского смотрит на север, в безбрежное озеро. Там же сквозь проливы, как в открытые окна, мерещится морская даль и на ней точно тучи. Острова ли это или марево? Скорее марево в возбужден-

ном пигменте глаза. Сколько свету и красок — поневоле чудится... Кое-где у подводных камней белые всплески — вода играет. Парит на озере. Сегодня 26 град. в тени, а на солнце и того больше. Чем мы ближе к Святому острову подплываем, тем он как будто все далее и далее отодвигается от нас.

— Прямо на Святой или сначала на Байонный остров — как хотите?

Я предоставил Пимену. Взяли направо. Байонный и Святой острова далеко отошли от остальных. Тут мы уж вышли из пределов проливов. В лицо повеял освежающий ветер, лодка стала покачиваться. Не волны, а какое-то приятное дыхание ходило по Ладоге... Озеро точно дышало.

— Ну, ставьте, ребята, парус!

Именно не волны ходят, а озеро дышит, как грудь, вздымается и опускается — медленно, спокойно, точно во сне... Как обманывает пространство на воде! Давно ли казался Святой остров близко, а теперь он все еще далеко; давно ли Байонный был вот у конца пролива, а теперь и пролив остался далеко позади, и все острова все так же бегут от на-

шей лодки к северу. При этом ощущаешь не волнение, а дыхание озера, еще более похожего на небо, по которому бегут мелкие тени.

Байонных островов три. Средний называется Большой Лембос, самый высокий.

— Что это за название — Лембос?

— Видите ли, батюшке хотелось Лемнос [153] — ну, а иноки, спаси их Бог, по малому и невежеству ошиблись, и вышел Лембос, так и идет теперь. Лемнос забыли, а Лембос остался!

Тут очень трудно было ориентироваться. Кажется, один остров, а проплывешь мимо, он разбивается на три. Так, из одного общего, виденного нами издали, теперь выделились: Святой, Малый, Черный, Крюк, Байонный и Лембос. Между ними опять те же открытые окна в море — проливы. Большой Лембос все растет и растет. Что-то мелькает в лесу, венчающем его.

— Это церковь Ильинского скита, — объясняет мне Пимен.

ИЛЬИНСКИЙ СКИТ

На берегу монашки-подростки. Часовня в стороне... Узенькая бить[154] воды вдается в остров. Через нее простенький мостик из жердей. На мосту старик, седой, ветхий, всматривается в нас подслеповатыми глазами.

— А, Христовы угоднички! — приветствует он, сбегая вниз. — Вот не ждал гостей! Вот радость-то... Спаси вас Бог, что посетили меня недужного...

Оказалось, монах за овцами смотрит... Еще в рясофоре, поэтому о. Пимену прямо в ноги.

— Старик любезный, что это ты... Господь с тобой!

— Благослови, отче!.. — И давай целоваться со всеми.

За баранами смотрит — кротость овечья и к нему перешла. Агнец[155] совсем. Ни злобы, ни зависти, ни жалобы.

— Покажи-ка нам паству свою!

— Паству?.. Хорошо. Пик-пик-пик!

На пиканье со всех сторон стали сбегаться

бараны. Все оказались стриженными. Старик и живущие здесь монахи из овечьей шерсти чулки делают для братии.

— Ну, а стрижец здесь?

— Тутка где-то. Стрижец, а стрижец!

Явился и этот. Совсем молодой монах. Пришел он в обитель когда-то мальчиком-чухной [156], безграмотен был, а теперь настолько умудрил его Господь, что он и других в школе учит. Сверх этого он закройщик в монастырской швальне [157] и приватно [158] еще стрижец паству о. Парфения. Помогают ему в этом невинном занятии трое портных и трое сапожников, тоже иноки. Отец Иван, стрижец, повел меня в сарай, где от нас живо шарахнулись во все стороны еще не стриженные бараны, тотчас, впрочем, обнаружившие и баранью глупость. Поманили их хлебом, сбегались и давай топтаться. Выбрав одну жертву, о. Иван захватил ее и вскинул на воздух; остальные — опять шарах по углам. Предательски захваченный военнопленный кротко подчинился своей участи. Связали ему ноги, бросили на мох и давай стричь. Точно платье с него снимали — совсем оголел. Время от

времени, чтобы барану не было скучно, давали ему кусочки сухарей.

— Так и с людьми, — поднял голову о. Иван. — Стригут их, а изредка поманят куском — ну, люди и довольны!

— Что же, если кому на пользу, — вмешался старец Парфений. — Уж коли стригут, то, значит, кому-нибудь надо, а коли надо — стриги!

— Утешительный у нас старичок! — поделился со мною своим впечатлением отец Иван. — Незлобивый, умильный!

Качество местного корма таково, что шерсть на здешних баранах замечательно густа, хоть и несколько груба. Пока у обители нет фермы для баранов, но собираются строить.

— Каменную?

— Да, с гранитной обшивкой!

— Стоит!

Далеко-далеко по Ладоге плывет корабль, едва его видно, под парусом, словно чайка плещется. Поплыли и мы к Ильинскому скиту. Каменные луды по сторонам. Вода шипит на них, точно ее кто-то кипятит снизу. Лембос

обрушивается на запад круто, гранитным обрывом. В стороне — пристань, заваленная камнями, чтобы не снесло. Ветры дуют тут сильные. Сено на берегу сушится. На высоте церковь простенькая, но изящная; она — в конце взбегающей вверх аллеи крупных лиственниц... Позади за нею насупился лес. Два домика двухэтажных по сторонам. Тут помещаются кельи. Солнечные часы — на гранитном пьедестале; колодезь, обшитый серым гранитом и вырубленный, как и все здесь, в скале.

— Откуда вода тут?

— А гора давит камень, камень и сочит воду, — объяснил по-своему монах. — Каждое место у нас. Господи спаси, имеет свою игру, каждая пядень особой красоты. Как человек на человека не похож, так и место от места отличается. Взойдите на колоколенку, посмотрите, какой оттуда пейзаж.

С колокольни — остров точно в озере, проливы заставлены мысами. Огороды внизу зеленеют. Вид совсем плох, и никакой игры в нем, хотя отшельники и приходят в восторг. Зато на противоположной стороне Лембоса

вид диву подобный. Обрыв сажен в двадцать высоты. Морская даль за ним легла. Направо мерцает кайма далеких береговых гор Олонецкого края.

— Когда ветер оттуда, горы точно поднимаются, а с полудня если — опускаются вниз. Так мы и замечаем. Тут непогодь бывает буйная.

Строитель, о. Анатолий, старик из орловских купцов. В свое время он провел пятнадцать лет в Питере при Валаамской часовне. Попросился оттуда назад.

— Не подобает иноку в мире жить. Мир — что море лютное[159]!

Хотели старца иеромонахом сделать, не принял мантию.

— Не хочу!

— Смирению покорствуем; спаси его Господи! Ишь, какой он у нас старец добродетельный... В низком звании пожелал окончить век свой... У нас такой монах был, мантию ему дали, а он ее взял да и сжег. Хотели его силой заставить носить, а он по горло в коровий кал вымазался да и пришел в обитель. "Вот, — говорит, — моя мантия. Мне, скоту, и

сия достаточна... И даже слишком она для меня великолепна..." Таково смирение было. Ужмы его умоляли надеть на себя рясу рваную, чтобы богомольцы на старца не соблазнились.

В дали морской суда показались...

На берег выполз как-то о. Амоний, у которого на клобуке был пришит громадный картуз. Сему старцу было не менее 80 лет.

— Куда это, спаси Господи?

— Рыбку... для обители рыбку половить хочу. Завтра вам отошлю!

В скиту, как и в других, рыбы не полагается.

Кстати, вот что удивительно. Отшельники, питающиеся здесь исключительно растительной пищей, живут до поразительной старости, сохраняя зрение и силы. Пешком они бродят, сколько угодно. Я — хороший ходок, а устал, тогда как этим старцам все нипочем.

— Вон этот послушник у нас версинецкий!
[160] — сообщил старик монах, указывая на коловшего дрова инока.

— Какой?

— Ну, как там, по-вашему, из версинета! В

Питере в версинете был, но только бросил всю и стал искать спасения. У нас оное обрел. Науку земную оставил, к Небесному Учителю прибег. И Оным был утешен несказанно. Небесный-то Учитель больше знает. Он не то что маги египетские[161]... Ваши-то маги куда сколь гордыбачут и превозвышаются, а Небесный Маг их всегда по затылку посрамить может. И посрамляет! Пусть-ко земной маг травку родит, так, безо всего, — ну-ко, пу-щай он травку одну, махонькую!.. А Небесный Маг ишь какие леса нам вырастил. Вот оно как! Вот и ты теперь, — указал он на меня, — в книжку все... Сказывают, книги пишешь. А что толку? На главе твоей я клобук прозреваю. И когда оный наденешь, тогда истинную науку узнаешь, какая она есть!

— Старец прозорливый! — умилялись рядом. — Это — пророчество!

Пророчество, во всяком случае мне большого удовольствия не доставившее. Увы! С тех солнечных дней прошли многие десятилетия, но пророчество прозорливца так же далеко от осуществления, как и я сейчас от Валаама!

[Обработано в мою бытность в Фалерах,
близ Афин.]

Александр Свирский

Лесные острова выплывают по сторонам навстречу. Длинный след бежит за нами. Чайка вьется над парусом нашей лодки. Медленно покачиваясь, челнок пристает к острову Святому. Дорога вверх бежит круто по гребню острова. Направо и налево сквозь деревья мерцает озеро. "Строго живут отшельники!" — говорит о. Пимен, стучась в ворота скита.

— Кто крещеный?

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

— Аминь!

Медленно, скрипя, отворились ворота. За ними — деревянные кельи, деревянная церковь в древнерусском стиле. Мы проходим мимо могилы, вырытой здесь для себя Александром Свирским. Она обложена камнем. За убогим храмом крутой спуск вниз — едва можно удержаться на нем. Сверху громадные скалы нависли над дорогой. Вот-вот сползут и задавят нас. Первозданные громады в диком хаосе громоздятся наверху. Они давят вообра-

жение; мысль перестает работать, невольно принижаясь перед этими чудовищными масками.

Узкая щель в гору.

— Пещера, где жил Преподобный!

Остров в те времена был безлюден. Среди этих диких скал, перемешанных с диким лесом, одиноко блуждал Александр Свирский. В темные ночи, в долгие дни только одна Ладога бушевала да лес шумел, повинуюсь ветру, налетавшему сюда с севера. Логово пустытника было непригляднее его жизни. Синайские отшельники[162] жили так же среди сожженных солнцем утесов. Узкая щель — пройти только одному. Сверху ее давит, точно расплющить хочет, громадная скала. За щелью тьма. Я зажигаю восковую свечку. Дикая пещера. Сверху каплет. Чудится или нет, только в сердце горы слышится какое-то журчание. Источник ли, запертый в каменную тюрьму, плачется на свое заточение?.. В пещере можно держаться, согнувшись. Она вся выдолблена в твердом граните. Точно все опускается в тебе: чувствуешь безотчетный страх — страх перед этой жизнью, полной

нечеловеческих лишений, ужас перед этим самопожертвованием — ради чего? Холодно, сыро. Рокот запертого в гору ключа кажется жалобой какого-то затворника. Каменная масса давит со всех сторон. Вот-вот рухнет на тебя!..

Несколько шагов назад — и предо мною, во всей своей прелести, блестящая, бесконечная, вся мерцающая под солнцем, лазоревая даль Ладоги. Тепло стало, опять день крутом, день и на душе, которая еще несколько мгновений назад была охвачена вечной ночью. Теперь дорога, вся по узкому карнизу, идет вокруг острова над глухо шумящими внизу волнами. Голова кружится. Невольно схватываешься за сосну, выросшую на самом свете и вытянувшую один корень вперед в воздух, точно руку, просящую пощады у озера, вечно подмывающего этот откос. Карниз все уже, дорога опаснее и красивее. Громадные утесы далеко внизу кажутся камешками, брошенными в мыльную пену постоянного прибоя.

— Вон тюлень. Ишь, полощется! Голова одна видна!

Всматриваюсь и ничего не вижу. Чтобы

различать, надо жить именно здесь на этих скалах и кручах, вечно видеть перед собою эти неоглядные дали. Самый великолепный пункт еще несколько шагов впереди. Сверху висит над карнизом чудовищная скала. Дорога вся под нею выбита. Из скалы куда дальше дороги выбрасываются, словно вырывающиеся из каких-то оков, сосны; но оковы их держат крепко, и они напрасно протягивают к безоблачному сегодня небу свои умоляющие ветви. Небо спокойно смотрит на узников серого утеса, и только иногда быстро бегущие тучки кропят их своими холодными слезами.

Всего лучше, всего красивее отсюда безбрежный солнцем осиянный простор Ладоги.

Тут устраиваются перила. Самую дорогу только что проложили.

— Страшно, спаси Господи! — проговорил о. Пимен, крестясь.

— Тут посидишь. Бога узнаешь. Он ведь один держит эту скалу. Опустил бы — где бы мы были?

Эти граниты — точно круглые башни над дорогой. Они колются не отвесно, а поперек, точно слои камней какими-то гигантами уло-

жены один на другой чудовищными жерновами.

— Ишь, море внизу-то злится! Дальше оно что зеркало, а тут беспокойно. У него с нашими береговыми скалами вечная война!

Отец Алимпий, в синих очках, с чрезвычайно умным, даже интеллигентным лицом, был, очевидно, немножко поэтом. Да как же им и не быть, живя на этих скалах, среди этого чудного простора!

— Берег-то далеко-далеко, точно в небе повис. Воздуха много между ним и морем. Хорошую погоду Господь, значит, дает!

Корни деятельно работают над разрушением этих скал, корни и вода; но пройдут еще целые века прежде, чем они dokonчат свое дело. Я думаю, точно так же любовался на их настойчивую работу и Преподобный, когда ходил мимо, оставляя свою звериную пещеру. Точно преследуемая идея, корень идет в самые недра, в самое нутро скалы, и там невидимо, но верно делает свое дело. Вместе со скалами пропадут и деревья, разрушившие их, — что нужды? Подыметься новая зелень на обломках павших скал, и снова начнется дело

разрушения, и снова корни станут вползать во всякую скважину, уничтожая своего старого, исконного врага. Да погибнут скалы, и да здравствует зеленое царство вечного, любящего простор, солнце и свободу леса!

— Тут у нас в скважинах пара воронов завелась. И гнездо вьют в камне. Из года в год все одна и та же пара прилетает. Детей выведут, дети не вернутся, а старые вороны — все сюда, все сюда. Тоже отшельники.

— Где же они?

— Днем на ловле, днем их не увидишь. Они сюда по ночам...

— Да тут как на Шипке[163] у нас: скала сверху, скала внизу, а посреди мы!

— Как на Шипке? — оглядываюсь я на молодого послушника.

— Он был на войне. Он у нас балканец! — рекомендует его о. Алимпий.

— Как же вы попали сюда?

— А как наши двадцать четвертую дивизию вымораживать начали, так я обет дал, если уцелею, на год сюда. Вот и приехал. Теперь неделю осталось. Я вольноопределяющийся был, из купцов. Наша лавка в Питере!

Какие тут, должно быть, бывают бури!.. Вон вывернуло деревья. Одно аршина полтора в диаметре, а легко, так же бессильно, как и малые жерди, что снесло ветром.

Ввиду бурь, здесь и пристани две: одна — северная, другая — полуденная. Если к одной нельзя пристать, другая к услугам иноков. Была большая каменная пристань, но в Покров[164] ее разбросало без следа. При этом перебило и несколько валаамских сойм, стоявших около. Одну из них (выбросило на берег, на скалу вышиной в семь сажен, — саженях в 30 от берега. Я было не поверил, но мне показали это место, и несомненно правдивый человек, о. Пимен, вполне подтвердил это.

— Тут, брат, уймут бурку крутые горки!

Отшельникам, впрочем, буря доставляет некоторое развлечение. Они сходятся под скалу на карниз и любуются оттуда на бешенство стихий, стремящихся разрушить эти перевозные; скалы. Хотя они находятся здесь на высоте шестидесяти сажен, но ветер хлещет их пеною волн; срывая с валов белые гребни, несет их прямо в лица инокам, точно негодую на то, что они являются свидетелями

его бессилия, злости.

Туннель, позолотчики и резчики

Валаам дошел здесь даже до такой роскоши, что от самого монастыря к громадным мастерским — здешнему Шеффильду[165] — проделан туннель, мимо кладбища, длиной в семьдесят сажен, вышиной в одну и шириной в два с половиной аршина. По туннелю, вдоль стены, тянется и водопроводная труба, чтоб зимою в ней вода не мерзла. Туннель внизу обшит гранитом, а сверху выложен кирпичом. Сначала его хотели сделать совсем в земле, но потом чуть-чуть приподняли над ее поверхностью, что дало возможность устроить сверху окошечки для света. Когда мы шли здесь, пахло сыростью.

— Для покойничков большое беспокойство!

— Где покойники?

— Да нора-то эта через кладбище проверчена. Положим, они в блаженном успении почивают, но и того одобрить нельзя, что святое место опакощено!

— Почему же опакощено?

— Мертвому спокой требуется. Он ведь что во храме. У него руки-то благоговейно на груди крестом сложены, и в персты ему молитва дается. Ну, значит, непрестанно молится, а тут, через нору-то эту, братия бегаёт из мастерских в обитель, из обители в мастерские. Где же тут ему спокой?

— Да ведь покойники не чувствуют!

— Не чувствуют, как же!.. Вы на кладбищах подолгу сиживали?

— Нет.

— А вы посидите вечерком, как меркнет!

— Ну?

— То-то, что ну... Гудут!

— Кто?

— Мертвецы гудут.

— Вот те и раз!

— Сам слышал. Ляжешь это головой на могилу. А в ней — гу-гу-гу... Точно он там молитву читает!

— Да это вы, отец Ферапонт, не того?..

— Как перед истинным Богом, слышал. Есть и другие, которые слышали. А иным не дано, потому что, если с легким сердцем прийти, ничего не услышишь. Это верно! А

ты расположись, чтобы душа у тебя страх чувствовала, потому тайна сия велика есть. А при страхе и вся остальная к тебе приложится. Нынче большое бесстрашие свирепствует — ну, и гласов слышать никому не дано!

Туннелем мы прошли в самый монастырь, к позолотчикам. Тут колеровали[166] иконостасы. После, шума и гама мастерских нас охватила тишина невозмутимая. Слышно было только, как муха звонко бьется в стекло, да из рукомойника, висящего на веревке, капли воды шлепаются о пол. Работа шла в полном молчании. Отец Петр, заведующий позолотчиками, безмолвно поклонился нам и опять принялся за дело. Никто не поднял головы. Отец Ферапонт, только выйдя отсюда, заговорил, да и то шепотом.

— Тут им болтать не приходится!

— При работе-то?

— А как же? Какое дело, гляди, — иконостас!.. Тебе это слово легко, а монашествующего оно объемлет... Ты подумай-ко, сколько иноков и богомольцев будут перед ним слезы проливать! Какие тыщи мятущихся духом преклонят перед этим иконостасом колена!..

Это ведь страшное дело у них, у позолотчиков. Не токмо им болтать не приходится, но и за всяким своим помышлением следить надо, чтобы оно было беззлобно, чисто и боговдохновенно. Это, брат, не то что тят да ляп и — песню пой. Тут не споешь!

Отсюда пошли мы к резчикам. Там верховодил всем некто о. Моисей. Работа тоже шла истово и безмолвно. Вышли отсюда, навстречу к нам бравый монах: клубук набекрень, поступь воинственная.

— Погляди-ко, сколь у нас сей старец видом победоносен. Совсем по образу не инок, а больше на птицу-орла похож!

— Кто это?

— Да Авраам. Он был в Питере городовым и много зла совершил, но в оном покаялся. Ты как полагаешь, ему в будке видение было. Вон он какой!.. Хотели мы его определить за рабочими смотреть, да нельзя...

— Почему?

— А все в зубы лезет. Болезнь такая у него — Господь за прежнее его наказует. Искушение, право!.. Ну, рабочие обижаются, да и для обители зазорно. Говорили ему, да ни-

чего не поделаешь. "Не могу, — говорит, — воздержаться, как увижу ихнее неповиновение, так рука сама..." Мы решили уж, что он победоносным духом одержим. Бог с ним, пускай его!

Посмотрели мы и в переплетную обители, благо недалеко.

— Золотым обрезом мы уж можем, — пояснили мне. — А богатых переплетов пока не дерзаем, — материал боимся спортить!

— А теперь пожалуйста наш Вавилон посмотреть!

— Это что же?

— А водопровод. Созидание, поистине удивления достойное, и тем наиболее, что простыми, немудреными, неискусившимися иноками содеяно.

XXIV

Водопровод

У монахов все крупное является чудом.

Еще накануне говорили мне:

— Завтра мы вам покажем наше диво дивное. Недра горные у нас камень жесткий, и мы его с Божией помощью победили. Толцые — и отверзется вам[167], и действительно, отверзилась гора, и теперь сквозь нее вода по всем местам нашей обители бежит!

— Вот, сказывают, наука нужна, а у нас отец Афанасий и без всякой науки водопровод поставил, да еще какой! А то наука... механика. У нас небесная механика действует, тайная пружина орудует, невидимо какими путями. Поди-ко, поучись у Господа Бога! Он вот младенца умудрил, и младенец созидает!

— Ну, тоже, — вступился другой монах, — отец Афанасий, слава Богу, сколько годов на заводе работал, приучился!

— На каком заводе?.. То — завод, а то — водопровод!.. На заводе он вот рельцу делал!

— Все едино — ум ему дан, он и понимает!

— Не ум, а просветление!

— Нет, ум!

— А я тебе говорю — просветление!.. Снизошло, ну, и может он разобрать. Вон отец Памва умен — какие книги читает! И отец Гермоген — тоже, даже по-аглицкому может. А пущай-ка они водопровод созиждут!

— У них ум другой. У них словесность действует, а наш отец Афанасий словесности не может. У него словесности нет!

— То-то и есть. Вместо словесности — просветление!

На другой день утром я действительно увидал чудо.

Валаамский водопровод — сооружение грандиозное в той обстановке, в которой он находится. Сквозь гору сверху вниз пробита жила насквозь до самой реки. В этой жиле устроено сто семьдесят ступеней, по которым вы можете сойти к воде. Ступеньки лестницы устроены над трубой водопровода. Жилу рвали порохом и свод над ней вывели из кирпича. Сумрак охватывает, когда спускаешься туда. Точно идешь в какое-то подземное царство, где рождаются ключи и умные гномы собирают среди вечного мрака свои сокрови-

ца. Каплет с потолка, сочится со стен. Вверху выбиты кое-где окна, и таинственный полусвет оттуда придает лицам почти мертвенную бледность. Чем ниже вы опускаетесь, тем более вам кажется, что назад уже возврата нет, что с каждою ступенькой все дальше и дальше, все бесповоротнее уходите вы от света, тепла и жизни в мрак, холод, в безмолвие могилы.

— Да, тут была работа! Вся братия о Христе потрудилась... И игумен руки приложил. Начал отец Афанасий дело-то вести, сколько одного смеху над ним было — не по силам-де на рамена[168] свои ношу возложил. Ну, а он, дай ему Бог, смиренно, бывало, поклонится братии, да за дело свое опять. Увидела братия его непреклонность — помогать стала!

Безмолвие было только наверху. Чем ниже опускались мы по влажным ступенькам, тем явственнее слышались какие-то мучительные вздохи, точно из горных недр неслись они. Казалось, что там, в самом сердце этой гранитной массы, замураванный навеки, мятется и вопит о пощаде неведомый великан. Еще несколько десятков ступеней — и дело

объясняется. Во мраке, внизу, что-то двигается. Какие-то железные руки по временам тускло поблескивали, будто утомленный труженик вскидывал их кверху, желая вырваться из крепко приковавших его к скале цепей.

— Это у нас вторая паровая машина. Она в зависимости от той, что вы видели в мастерских!

— В самом низу колодезь заперт решеткой, а этому колодцу четыре сажени глубины, и весь он высверлен в граните!

— Верно, узкий?

— Ну, нет. Он четырехугольный, и каждая сторона в аршин. От него высверлена труба в воду и продолжена до середины пролива, чтобы брать воду не "с краю", т. е. не с берега, а со середины реки!

Этот колодезь внизу — точно адская щель какая-то. Едва-едва глаз различает в нем смутное очертание машины, слышно хрипение насоса, и кажется, что там, на дне колодца, совершается какое-то черное злодеяние, кто-то душит жертву и не дает ей даже возможности вскрикнуть. Жертва хрипит и бьется.

— В немецких сказках читал я, — пояснил мне образованный монах, — о чудесных существах, что в горе самой живут. Ну, когда я один здесь стою, мне так и кажется, что это они возьтятся!

Оглянувшись назад, я изумился длине этой громадной жилы водопровода.

— Неужели опять вверх придется подыматься?

— Зачем же? Вот...

Яркий свет Божьего теплого дня блеснул в глаза. Отец Виталий отворил дверь, устроенную в самом низу, в одной из стенок жилы. Ярko так, что глаза пришлось зажмурить. Ветер прямо с гор сегодня благоуханием цветов обносит. Жадно после этой холодной и сырой дыры легкие пьют аромат весеннего дня. Река внизу зыблется и мерцает под солнцем Острова млеют в его живительном тепле.

— Вон видите скалу?

В пролив обрушивается утес. Он-то и пробит водопроводной жилой. Под водой из него идет чугунная труба в середину пролива. Отсюда изумляешься высоте, на которую поднята вода. Когда начал о. Афанасий строить

свой водопровод, его уверяли приезжавшие сюда на богомолье специалисты, что он задумал дело не по разуму, что его предприятие не удастся ни под каким видом. Но о. Афанасий, как выражаются монахи, одержим упорством. Это один из тех людей, что, раз уверовав в успех своего дела, не оставит его и не устанет, а неуклонно пойдет к цели, не бросаясь ни в одну, ни в другую сторону. Препятствия питают его энергию, неудачи раздувают ее ярким полымем, и при этом скромность выше меры. Ни по стенам гранитной жилы, ни вне, на кресте, воздвигнутом в благодарность за оказанную Богом помощь при ее создании, нет имени строителя. Простая и ничего не говорящая сердцу надпись: "Поднята вода 1863 года декабря 12 дня". Вот и все! Даже не прибавлено, на какую высоту это сделано и сколько времени потребовал для своего осуществления нечеловеческий труд прежде, чем монах на верху горы мог пить воду, текущую вниз, не сходя к ней по старым, уж и тогда развалившимся ступеням.

Когда мы возвратились назад, нам повстречался о. Афанасий. У него только глаза

поблескивали, когда он рассказывал об этом сооружении. И ни слова о себе. Все "братия", "братия", "отец игумен Дамаскин" — и только. Теперь, взглядываясь в это простое, совсем простое лицо, я понял и эту энергическую складку губ, и этот спокойный, спокойный, но при всем своем кажущемся спокойствии, страшно упорный взгляд добродушных глаз. Это действительно упрямая, не знающая препятствий сила.

И опять-таки пришлось удивиться мне, как удивился я прежде. Куда ты прячешься, великая русская сила? В какие трущобы нужно загнать тебя, чтобы ты появилась живучая, создающая все из ничего?.. Тот же о. Афанасий, работая на Бардовском заводе под началом англичан и немцев, далее десятника не пошел и сгинул бы со всеми своими планами, начинаниями, со всею своею громадною энергией. К чему был бы ему там, в этом царстве машин и труда, его ум? А тут, где ничего не было, между своими, простой среди простых, он развернулся с неожиданной мощью.

Упраздненная пустынь и заштатные подвижники

Пыхтение машин, визг буравов о железо, стук молотков, свист кузнечного пламени, треск взрывааемых утесов — все это далеко осталось позади, точно и не было его, этого современного нам Валаама, с его громадною строительною деятельностью, с его не совсем монашеским попечением об утрии[169], с его мастерскими, водопроводами, заводами, образцовыми фермами, смолокурнями, конюшнями, похожими на дворцы, и дворцами, более подходящими к типу конюшен, с его мертвящею дисциплиной и эпическими фараонами[170] под клобуками игуменов.

Вокруг — лесное царство. Опять важные сосны торжественно возносят к небу, словно жертвы, свои вершины, в кудрявых березах весело играет солнце. Золотые блики его бегут перед нами по дорожке, тени следуют за нами. Меланхолический черный дрозд заводит в пустыне свою поэтическую песню, и, слушая его на вершинах леса, полный неги,

словно задумавшийся качается тихий ветер.

Меня ведет за собой о. Пимен, этот живой протест против нынешнего, созидającego пирамиды Хеопсовы, монашества; ученый, умный инок из старого типа подвижников, точно целые века проспавший в земле и проснувшийся для того, чтобы на месте старых пустынь, затерянных по бездорожьям, забытых среди дремучих лесов, увидеть заводы под монастырскими куполами, фабрики, обнесенные иноческими стенами, — вместо прежних отшельников, непрестанно, среди безмолвия окружающей их природы, беседовавших с Богом, застать чернорабочих и мастеров под рясами, механиков под клобуками... С сожалением он всматривается во все, что творится вокруг него. Я бы сказал — с презрением, если б иноческая складка допускала это чувство. Тут, в этом безлюдном лесу, ему дышится легче. Он всматривается кругом и повсюду отыскивает следы древнего подвижнического Валаама, когда монашество было рыцарством и блюло свои обеты. Теперь оно стало буржуазией и торгует в лавках.

— Тут, в величайшей глуши, жили пустынь-

ники, — грустно рассказывает о. Пимен. — Зимой их заносило снегами. Они слышали только голоса бури да свист метели. Ну, а заходили пароходы и — подвижничеству конец пришел. Начали богомольцы соваться в пустыни, и уединения не стало. Многие старцы любопытством мирян соблазнялись, начали превозноситься. От пустынного жития только один грех вышел. Был выход — скиты поставить и мирян туда не пускать. Дамаскин и сделал так, последний удар отшельничеству нанес. Это уж не пустыни — по несколько человек вместе живут... Единения с Богом и нет!

Сосновая глушь теснее и теснее сдвигалась кругом. Кое-где на стволах деревьев были прибиты кресты из кусков досок. И стволы эти уж от старости тысячами морщин покрылись, и на позеленевших крестах мох пророс. Видимо, давно это было — так давно, что разве только вековые сосны могли бы порассказать об иноках, которые, бродя по этим дремам, наколачивали кресты на кору деревьев, тогда еще молодых, изгоняя духа зла из своей возлюбленной пустыни.

— Жили тут старцы... Схимонах Сергей да

инок Афанасий голоса человеческого не слышали. Из братии кто по усердию придет к ним — затворятся, на стук отзыва не подают. Ну, потолкуются, потолкуются гости, видят — уединился старец — и прочь пойдут. Теперь редкие ходят сюда... Редкие!.. Питать свое чувство. Вся-то земля здесь моленная да слезами кропленная!

Опять кресты позеленевшие на корявых стволах. Вершины тихо шумят над ними. Гул какой-то идет вверху, — гул, не нарушающий тишины благоговейной. Гуще и гуще лес, громче песня дрозда, дорога ушла куда-то. Внизу — топь, из-под ног вода сочится, свежая трава клонится бессильно под ними. Белый болотный цвет с сильным ароматом курится нам навстречу.

Яма какая-то; в ней видны сгнившие балки. По одной совсем мох прошел — разрыхлевшее дерево стало для него чудесною почвою. Землянка была древле[171], над землянкой крыша. Она-то и обвалилась вся... Дно ямы зеленым сукном обтянула мелкая сырая поросль. Шагах в двадцати отсюда немощно покосился черный-черный крест — точно и

ему тяжело под бременем лет стоять здесь. Ключу бы старцу, да некому дать ее, и стоит он, сгорбясь, покорно и молчаливо, ожидая, когда буря или собственное бессилие уложит его в ту же мокрую топь.

Сердцу говорит это запустение, вызывает целый рой видений из далекого прошлого. Воскресает древнее иночество, подвижнически убегавшее от мира, клявшее людей, питавшееся духом уединения и созерцанием, ничего общего не имевшее с нынешнею экономической мощью обители.

— Без пышности жили тогда старцы... Сколь она нехороша, эта пышность иноческая, нынче... — раздумчиво роняет о. Пимен, окончив молитву над развалившеюся землянкой. Самые бревна ее кажутся пропитанными слезами, которые здесь, в страшном и вечном одиночестве, лились из тусклых, ослепших глаз каявшихся старцев!

Еще с полверсты... Лес мрачнее стал, точно насупился. Величавые сосны сменились схимническими, нахмуренными елями, протирающими книзу свои темные ветви, точно они ревниво стерегут что-то от постороннего

глаза. Холм. На нем опять позеленевшие балки. Тут уж путь буреломом завален. Едва продираешься сквозь. Ничьей ноги здесь, видимо, давно не бывало, никто не проложил к древнему Валааму нового следа. Колодезь вырыт в стороне. Ничего общего с нынешними, обшитыми гранитом, высверленными в скалах, отнятыми у горных недр, — старый, простой, как иноки того времени. Колодезь этот обложен деревом. Дерево сгнило, проросло. Внутри неподвижно, как и все кругом, стоит вода. Кругом тихо, ветхо, скудно, пустынно...

— Здесь иноческой поэзии больше. Тут, видимо, людям zde пребывающего града не нужно было, они и не создали его — грядущего искали![172]

Какие созерцания возможны были среди этой убогой обстановки, под гул великолепно-го леса кругом! Воображение невольно рисовало эту эпоху, когда рядом уживались: залегший в свою берлогу медведь и занесенный в своей землянке снегами пустынный. Оба — в вечном мраке. Представляешь себе сторбленную, с нависшими бровями и отяжелевшими веками, сухую фигуру отшельника, безмолв-

но слушающего свист метели и треск ломающихся под тяжестью снега ветвей, — слушающего во тьме, еще более усиливающей впечатление. Какие голоса должны были ему звучать в бессмысленном, гневном реве зимней непогоды, какие видения являлись полуослепшим глазам среди этой безрассветной ночи! И если они повествуют об ангелах, сверкавших в этом мраке, об откровениях, долетавших до них с небес, покрытых густыми тучами, — я верю и этим ангелам, и этим откровениям, как верю в то, что факиру улыбается Брама[173], что с Моисеем из горящей купины разговаривал сам Бог[174]... Они, действительно, видели и слышали, но видели и слышали творившееся не в действительном мире, а в них самих, как мы в бессонные ночи видим лица и слышим голоса дорогих и милых людей, разлученных с нами тысячами верст или десятками лет. Пусть они, эти люди, давно спят в могилах — все равно, перед душевным оком разверзнутся могилы, воскреснут спящие в них мертвецы.

Опять землянка: над нею в два ската кровля. Лопарская вежа[175] совсем, из таких, как

я встречал на Мурмане и в Лапландии. На жердях кровли дерну настлано. Дерн давно пророс кустарником.

— Чем питались монахи?

— Разно. Одни муку замешивали на воде и ели так прямо. Другие, Бог знает... как Иоанн в пустыне. Только тут дикого меду нет!

— Да и акрид что-то не видать!

— Кору ели! Были такие, что по месяцам не приходили за пищей!

— Какая тишина!

— Здесь хоть и тишина, а говору бездна. Какая-то проповедь о подвижничестве безмолвная. Ныне слишком много удобств, слишком мало для души...

— В этих удобствах есть много хорошего!

— Не для обители и не для иночества... Водопроводы вон вывели, "чудо!" — кричат. А какое чудо? Мы прежде по обледенелой круче, едва держась за ветхие перила, идем воду брать... Вверх ее, потом обливаясь, возносим. Скользко, земля из-под ног уходит — вот-вот вниз слетишь. А все вверх, все вверх — и чувствуешь, что тебя ангел Господень держит, сам окрыляешься. А теперь вода сама бежит к

тебе, и ангелов не стало!

О. Пимен — дворянин, ему аскетизм нужен. Как это ни странно, а пытливым ум, просвещенный наукой, ищет именно умерщвления плоти. Такими типами и держалось подвижничество. Крестьянин — совсем не тот, и отрицаясь мира, и хоронясь заживо, все на хозяйство бьет, скопидомничает на себя, ширится и растет общиной.

— Уж шириться, так с главного начинай!.. Подыми собор, чтоб он к звездам небесным возвысился, чтобы колокола у самых туч благовествовали. Возведи стены, чтобы они действительно знаменовали отречение от мира. Поставь келии... А то у нас вон конюшни да мастерские обитель дают. Мала она в сравнении с ними. Теперь ежели стать им монастырь возносить, воздвигать его по новому плану — средств и не хватит.

Протест о. Пимена — не одиночный. Тем не менее старое подвижническое начало совсем отошло назад. Русские монастыри все вообще как-то сбиваются на хозяйственную жилку. Святость — святостью, а прибыток сам собою. Этим на Афоне русские даже злобу у

греков вызвали. Грек-монах — тот, как клещ, чужое тело сосет, а сам ничего не производит. Русский инок и от приношений не прочь, да и сам не сидит, сложа руки, а труждается и воздвигает башни вавилонские.

— Тоже и наши хороши на Афоне! — как-то сообщил мне один инок, побывавший там.

— А что?

— Да как же, у них сборщик — по всей России, он всю Русь сосет, а все-таки греческий склад монастырской жизни больше содействует монашеству!

— Как смотреть на обители! — продолжал о. Пимен. Если они — идеалов носители, народу светильники, то сии из дебрей и пустынь ярче сияли ему и громче говорили издали. Планеты ярко светят, а приблизиться к ним — темны, как и земля. И народ это понимает. Прежде к обителям и уважения больше было... А нынче все на прибыток пошло... Обители легче, чем кому-либо, приобретать... "Ради Бога!" — это великое слово, страшный глагол! На последнем-то суде — на весах — что оно вытянет?.. Скажи-ка его игумен старушке какой-нибудь либо богобоязливому му-

жу — все с себя снимут. Детей оберут, а в монастырь "ради Бога" принесут. Ты и подумай, легко ли это... А нынешние обитатели такие слова постоянно говорят!

Какие тут цветы пышные попадаются на пути!.. Не верится — да полной на севере ли я?.. О. Пимен обошел один из цветков, чтобы не наступить на него. Другой монах при таком же случае заметил:

— Вот в этом крине сельном[176] более мудрости, чем во всех книжках наших. Цветок, как мудрец, душе глаголет. Он — тоже книга, только смятенному духу закрытая, а пустынножителю ясная и понятная. Сия книга умная. У нее каждый лепесток — страничка!

Он сорвал цветок и, не замечая сам, помял, помял его и, бросив, наконец, этого великого мудреца на землю, в раздумье наступил на него, не прочитав.

— Однако земные мудрецы разгадали все — и состав, и жизнь вашего растущего и благоухающего мудреца-цветка, и не только разгадали, но и поставили его как солдата в шеренгу — на свое место!

— Вашу мудрость, — прервал меня монах, — преподобный Исаак Сириянин[177] называет нагим видением!..

— А что такое нагое видение?

— Да нехорошо... вот что!

Когда я совсем углубился в эту пустыню, таково было влияние зеленого леса — покоя, царствовавшего здесь, в этой тени, тепла и света, скользившего золотыми струями по листьям ив, на мягкие нежные поляны, — что мне самому стало понятно искание уединения и безлюдья. Сюда нужно уходить изверившимся, разбитым судьбою.

— Разумеется, людям, выдержавшим великие несчастья, хорошо было здесь!

— Ну, это еще не повод к монашескому житию! — заметил о. Пимен.

— Да ведь большая часть... — начал было я.

— Вот видите ли, у таких особого произволения к иночеству не бывает, а вступающий с малым произволением в монастырь с первых шагов по подвижническому пути ужасается лютой врага и устремляется в бегство. Только три достаточных основания признает

Иоанн Лествичник[178] к оставлению мира: любовь к Богу, желание будущего царствия и сознание множества грехов!

Нужно сказать правду, я с сожалением оставлял эту зеленую пустыню. В ней чудилось что-то величавое. Какие-то гигантские силуэты возникали в воспоминаниях о далеком прошлом, — силуэты, заслонявшие и эти пирамиды, поставленные новыми иноками, и их машины, пароходы и всю экономическую мощь. Старый Валаам выдвигался из тумана веков — суровый, полный лишений... Казалось, вот-вот из чащи послышится старческий голос, и, постукивая перед собой клюшкой, двинется на меня оттуда полуослепший схимник — отшельник, точно сейчас только вырытый из могилы... Выходя из леса, я еще раз оглянулся на эту последнюю страницу древнего иночества, только что прочитанную мною.

Новое идет иными путями... Это — та же социальная община, только с президентами особого рода, несменяемыми и, если хотите, нетленными: Сергей и Герман — на Валааме, Зосима и Савватий — в Соловках. Здесь пока

социализм нашел беспрепятственное осуществление своей идеи[179]. Не указание ли это для будущего? Не поучиться ли здесь, как работать всем и за вся?..

Валаамская академия художеств. — Валаамские Рафаэли. — Ризница и библиотека

Я уже говорил, как меня поражали чистотой отделки, нежностью и, если так можно выразиться, женственностью кисти работы валаамских художников. Странно было бы уехать из монастыря, не познакомившись с теми, которые прятались под безразличную подпись: "трудами валаамских иноков".

— Да сколько же их всех у вас?

— Трое. Они и снабжают скиты, часовни и обитель самую. Мы даже другим монастырям и бедным сельским церквам дарим иконы их писания. Особливо один у нас есть — молодой. Можно сказать даровал ему Господь талант на пользу братии, — такой талант, коему и светские громогласные художники вотще[180] позавидовать могут!

Этот молодой живописец до сих пор у меня в памяти: маленький, тщедушный; волны золотистые волос на голове шапкой стоят, и никаким гребнем не разберешь их; грустные



Валаамские Рафаэли.

добрые глаза; бледное, кажущееся измученным лицо.

— Брат Алексей! Вот на твою работу пришел светский писатель посмотреть!

Он сконфузился, покраснел, заторопился чего-то.

— Что ж, смотреть нечего... Какая это работа!

— Совсем он девушка у нас — всего стыдится.

— У меня тут эскизы пока... Новые картины задумал. Еще писать не могу — не тот дух...

— Он у нас так не пишет; а как снизойдет на него, он сейчас боговдохновенно...

Я осмотрел эти эскизы: "Закхей на дереве, приглашающий Христа"[181], "Исцеление прокаженных"[182] и другие. Сколько жизни в постановке фигур, сколько понимания событий! Видимо, каждая вещь долго и благоговейно обдумывается.

— Отец Алексей поучился даже несколько времени в академии. Обитель его послала туда, да он быстро вернулся!

— Пользы мало?

— Нет, как мало! Наука... А то, что я стал тосковать по Валааму, грудь начала болеть. Доктор сказал, возвращайтесь туда, тут вы себе чахотку наживете... Я вернулся. Здоров ныне. А работать там чудесно. Совсем иначе — перед собою такие образцы видишь... Тут меня тоже поощряют. Сказали: как напишешь "Исцеление слепорожденного"[183], так мы те-

бе и выпишем французскую иллюстрацию [184]. Ну, и выписали... Тоже вот, когда Закхея кончу, мне английскую выпишут!

На какие жалкие, ничтожные средства делается все это — и сказать трудно. Талант поощряется лубочными иллюстрациями. Обидно и досадно становится за него. Живая душа, бьется. Даже еще хуже — не бьется, а примирилась, считает место это лучшим на всей земле, а рясу свою и скуфейку — высшим счастьем... Понятно, если талант мало-помалу заглохнет. Скоро эти грустные глаза погаснут, а живое, выразительное лицо, на котором постоянно сменяются впечатления, примет сухую иноческую складку, — тогда и чистые линии рисунка огрубеют, нежные краски поблекнут, в фигурах умрет жизнь, а из художника, обещавшего многое, выработается простой шаблонный иконописец... Я, порасспросив кое-кого, узнал его грустную повесть. Сын какого-то мещанина, он рано начал обнаруживать дарование — не последнее. Дома его не понимали, мешали работать, били даже. Поневоле монастырская клетка, где кисть из рук у него не отнимали, кажется захиревше-

му художнику раем. Он тут и другие послушания исполняет, когда его "благословят" на них, — служит за трапезой "со унижением". Эх, горькая ты судьба русских талантливых людей!., Горше твоей нет. И в каких закоулках расцветают иногда пышные цветы! Вот, например, отец Нафанаил. Он — отставной кавалерийский солдат. Лет двадцать в седле провел с пикой в руках — кажется, уж до художества ли тут. А посмотрите, какие образа пишет. Для заправского художника, разумеется, плохо, но для него — лучше требовать нельзя. Вы видите отсутствие техники, незнание азбуки рисования, но в каждой мелочи сквозит дарование, артистическая искра так и бьет в глаза... Третий еще только начинает работать.

— Что ж вы делаете, когда не работаете?.. Читаете?

— Светские книги запрещены нам. Читаем божественные, больше размышляем!

— Молчим! В безмолвии дух питается...

— Кто молчит, тот не грешит!

— Грешить можно и помыслом!

— А ты так умеешь молчать, чтобы в тебе да-

же и помысла не было!

Я ушел отсюда в библиотеку, где заперто за стеклами шкапов до восьми тысячи томов богословского, исторического и технического содержания. Есть и на других языках. Между книгами я заметил несколько библиографических редкостей. Дамаскин на книги средств не жалел, и я здесь видел издания очень дорогие. Ученые монахи, вроде о. Пимена, пользуются библиотекой невозбранно, остальным же некогда.

— Иноку работать надо... Какая тут книга, коли у него рубаха еще вся в поту и руки от усталости не двигаются!.. Не до книжек... Опять же малоумным быть куда выгоднее. С малоумного спросится меньше, чем с высокоумного!

— От книг и гибель вся! — делился потом своими впечатлениями один из тех монахов, с которых спросится мало. — Древле змий яблоком жен соблазнял, на древа вползал для сего, а ныне он в книги яд свой изливает и через книги хитроумных мужей и седовласых старцев громогласно на пути нечестивых идет!..

— "Господи, помилуй!" — вот единственная книга. Читай ее всегда и спасен будешь!

Кладбище. — Не признанный историей Магнус II Смек

Глухо шумят тенистые вязы... Белую стену обители всю заслонили они — не видать ее вовсе за этою колышущейся зеленью. Тихо дремлют во блаженном успении иноки под безымянными плитами и однообразными, подернувшимися травой насыпями.

Тихо спят, прислушивался я, вовсе не гудут, — должно быть, пригрезилось тому монаху, что рассказывал мне, как покойники молятся в своих полуистлевших гробах... Разбитый житейскими бурями и случайно представший сюда странник даже позавидует их безмятежному сну. Корни цветущих кустов проникают к ним, над их насыпями щебечут птицы, стрекоза поблескивает на солнце своими сквозными крыльями, а их, этих отдыхающих бойцов, не зовет никуда, не тянет... "Аще убо живем, Господеви живем; аще убо умираем, Господеви умираем"[185], — и больше никаких сомнений. Сон без кошмара, сон без видений, без грез, без страстных порывов к

невозвратному прошлому...

Как придешь сюда, так и чувствуешь желание хоть прилечь на чужой могиле... Так тихо, тихо на душе становится, точно все там упало, все замерло и не шелохнется... Вода так иногда под солнцем заснет, даже борозда не бежит по ней.

На могилах — редко, редко где-нибудь имя... Большею частью насыпь или плита, а кто под ней — неизвестно.

— Отец игумен говорит: зачем имя?.. Кто что заслужил, тот то и получит. Крест у всякого, а имя зачем? Твой есмь аз[186], спаси мя!.. Бог знает. Он и заберет. А имени не надо!

Но вот несколько плит подряд... Господи, все какие старцы!.. Говорят, что недостаточная, исключительно растительная пища коротит век, а непомерный труд и совсем убивает. Приходится здесь убедиться, что все — чистейшая чепуха. Не угодно ли:

Схимонах Михаил ... 80 лет

Монах пустынник Афанасий 80 "—"

Схимонах Сергей 80 "—"

(из коих 60 провел на Валааме)

Схимонах Серафим 83 "—"

Схимонах Феоктист 74 "—"

Схимонах Кириак 80 "—"

Схимонах Авраам 95 "—"

Иеромонах Евфимий 70 "—"

Иеромонах Боголеп 84 "—"

Иеросхимонах Евфимий 80 "—"

Игумен Иннокентий 85 "—"

и все эти старцы, из коих младшему 70 лет, улеглись рядом. С ряду я и взял их. Где доживают в массе до такой глубокой старости?

Над одной могилой отец Виталий остановился.

— Друг был... Мирской!.. Прибыл сюда меня навестить и заболел... Сколь душа мятежная была — жизнью от него так и веяло. Непоседа, а теперь лежит, не двигается и ничего не ищет, — ничего ему не надо!.. Только шесть сосновых досок — и все готово. Прощай, Иван Иванович, прощай! Жить бы тебе!.. А вот тут лежит шведский король[187]. Приял кончину праведную у нас...

— Это и есть Магнус?

— Он самый!

Простая плита. Сверху шумит над этим, ко-

гда-то могучим, конунгом[188] тенистый вяз. Изредка солнечный луч сквозь просвет ветвей скользнет на плиту и позолотит ее. Тени бегут по ней, как волны, которым вверялся шведский владыка.

Стоило родиться далеко-далеко, целые города заставить склоняться к своим ногам, чтобы в конце концов попасть на Валаам, принять схиму и улечься под этим деревом, среди всех этих Боголепов, Серафимов, Кириаков, Евфимиев!.. Неужели и ему, этому гордому северному кондотьери[189], спокойно спится здесь под похоронные напевы иноков и тягучие, густые удары колоколов?..

Современные историки отрицают достоверность этого события, но легенда сама по себе столь поэтична, вера в нее иноков так непоколебима, что и мы приводим ее здесь во всей ее наивной простоте.

В 1371 году смелый конунг Магнус отправился на Ладугу разорять русские пределы.. Бранная потеха шла первоначально с успехом. По хмурым берегам хмурого озера пылали села и посады, кровь лилась рекою, стон стоял "по всей округе". Оставалось одно — об-

ратить в пепел Балаам и истребить ненавистных конунгу монахов, самых упорных представителей русской национальности на этом отдаленном крае. Магнус отправился во главе множества лодок, но, не дойдя и половины пути, смелые пловцы были застигнуты бурей... Долго их носило сумрачное Нево, долго било утлые струги бешеными волнами, ни один из спутников конунга не спасся. Буря утихла... Монахи зачем-то шли по берегу, звуки какого-то священного стиха разносились в теплом и спокойном уже воздухе... Вдруг вдали показалось на водах пролива что-то необычайное. Подошли черноризцы поближе. Плывет доска, за нее уцепился еле дышащий, весь растерзанный, почти уже мертвый человек... Бросились к нему, вытащили из воды.

— Кто ты?

— Магнус II Смек, король шведский!

Оказалось, его несколько дней носили неугомные волны озера.

"Старцы, — говорит летописец, — в несчастий короля видели особый промысел Божий, призывавший его в свою ограду, как некогда

гонителя Савла[190]. Мирные кущи иноков, их убеждения, воспоминания горьких дней протекшей жизни сильно взволновали сердце Магнуса. Он сам увидел в своей судьбе перст Провидения и решился остаток дней провести в обители, в тихой пустыни. Он присоединился к православию и с именем Григория II Смека, в иночестве схимонах Григорий, умер, и монахи погребли его на своем кладбище".

Теперь его почти забыли. К могиле — ни тропы. Трава кругом густая; она заслонила даже наивную надпись на плите. Какой-то черноризец-монах сочинил вирши, вырезанные на плите. Мне о. Виталий указал на них, как на чудо поэзии.

— Тут богомолица была, она из Питера, даже плакала... горькими, горькими слезами... Так он ее, монашек-то наш, своим стишком проник. Вы запишите стишок. Стишок хороший, чувствительный. Сколь он до сердца проникает — и сказать невозможно!

Повинуясь ему, я записал с сохранением правописания:

На сем месте тело погребено

В 1371 году земле оно предано
Магнуса шведскаго короля
Который святое крещение восприя
При крещении Григорием наречен
В Швеции он в 1336 году рожден
В 1360-м на престол был возведен
Великую силу имея и оною ополчен
Двоекратно на Россию воевал
И о прекращении войны клятву давал
Но преступив клятву паки[191] вооружил-
ся

Тогда в свирепых волнах погрузился
В Ладожском озере войско его осталось
И вооруженнаго флота знаков не оказа-
лось

Сам он на корабельной доске носился
Три дня и три ночи Богом хранился
От потопленья был избавлен
Волнами ко берегу сего монастыря управ-
лен

Иноками взят и в обитель внесен
Православным крещением просвещен
Потом вместо царския диадимы[192]
Облечен в монахи, удостоился схимы
Пожив три дня здесь скончался

Быв в короне и схиною увенчался.

Длинные ряды безымянных холмиков, поросших сочною травой. Кое-где покосившийся старый крест. Густые вязы и клены тихо колышутся над неведомыми могилами. Туча набежала и уронила несколько слезинок, точно и ей стало жаль этой пустынной и скудной жизни, этих бледных и ничем не оживлявшихся годов затворничества и лишений... И опять солнце сияет вовсю, опять свет его дробится внизу на струйках пролива, медленно покачивающего одинокую шкуну. когда мы устали и сели на одну из могил, я внимательно слушал, "как молятся и гудут покойники", но, увы, мне "дано не было", и я только различал в траве шорох мелкой твари, тоже пользовавшейся теплом и светом только одному монашествующему старцу противного летнего дня.

XXVIII

Железняки. — Жертва вечерняя

— **В**ы ведь любите дикую природу?
— Еще бы!

— Ну, так я вам сегодня покажу такие места, которые надолго останутся у вас в памяти! — предложил мне о. Пимен.

Лошадь вскоре была готова. Дорога идет чернолесьем. Дичь и глушь кругом. Птица непуганая, — сидит и с места не шелохнется при нашем приближении. Заяц выскочил из чащи на дорогу, замер было на мгновение, перевел ушами и, отойдя в сторонку, долго провожал нас, недоумевая: откуда это?

— У нас зверю снисхождение. На воле гуляет. Еще по крайним островам поганцы чухны тайком бьют его — ну, а тут он испокон века не слышал ружья. Тут у нас зверь приверженный ласковый[193]... Олень грудно[194] ходит, иногда к самой обители подойдет. Вор только олень — сена не оставляй, на рогах разнесет. Не столько он поест, сколько разнесет.

Лес добежал до пролива, а передние дере-

вья даже вниз наклонились, точно дно вы-
сматривают, нельзя ли на ту сторону перейти
вброд. Через пролив насыпной каменный
мост. В одном месте его разрушило бурей. За-
валили гранитом да булыжником озеро — и
вся недолга. Несколько напоминает это соору-
жение перешеек, устроенный соловецкими
иноками от своего острова к Муксальме[195];
у соловчан только мост гораздо грандиознее.

— Кто строил?

— А инок у нас есть, о. Михей. Для обители
потрудился. Он же и ту часть, что разводится,
сделал. Умный инок. Как Господь его вразу-
мил, поди-ко!.. А наперед того ничего не стро-
ил.

— Вот и Железняки наши!

Из моря поднимаются массы гранитных
плит. На несколько верст тянутся они изви-
листой стеною. В некоторых местах они стоят
отвесами, в других скалы осыпались и точно
от старой, обвалившейся крепостной башни
обломками легли далеко в озеро... Прибой бе-
сится между ними, взмывает белую пену
чуть не до зубцов этих первозданных стен.
Точно из тесаных камней выложен он. Века

давно уничтожили цемент, скреплявший их, и каждый камень, величиною в утес, отделился от другого заметною черною щелью.

Мы плывем вдоль этих сооружений, над которыми тысячами лет работали разные плутонептунические[196] силы. Над ними неистово разорались гагары, белые чайки реют в прозрачном воздухе над самою кипенью прибоя. Направо — такой же расколовшийся, такой же каменный остров — Дивный... Когда мы несколько повернули направо, все это развалившееся городище стало еще грандиознее.

Старые сказания невольно приходили на память. Мелькали в голове картины Содома и Гоморры[197], побитых небесным огнем. Воображение рисовало перспективы громадного города гигантов, когда-то, десятки тысяч лет тому назад, гордо возвышавшегося здесь из бешеных волн безбрежного Нево... Неведомо за что город был затоплен ими. Не от ветхости развалился, а застигнут дивным катаклизмом[198] чего-то содрогнувшейся природы. Море залило основания этих стен, подножия дворцов; длинными проливами ворва-

лось оно в пустынные улицы, внутренними озерами наполнило безлюдные площади и спокойно плещется там, само давно позабыв о своей стародавней победе... На целые версты тянутся эти развалины. Ветром нанесло на их иззубренные вершины землю, а за землю уцепились корни сосен... И самые сосны эти давно уже постарели, нахмурились и наклонились со своей высоты над озером.

Крики гагар, шум прибоя, отдаленный гул зеленых вершин. Мы пристаем к Железнякам.

Ветхий, седой монах идет-колышется навстречу. Глаза уже давно не щурятся на свет... Руки дрожат, ноги ходуном во все стороны.

— Кто тут?

Точно старый волшебник вышел к нам на безлюдном острове. Он так привык к непроглядному мраку черного грота в самом сердце гранитной горы, что с трудом различает вместо людей какие-то смутные тени. И зачем тут люди?.. Они только мешают вечному торжественному таинству его уединения.

— А, отец Филимон!.. Гостя привез к вам, в Авраамиев скит!

— Гостя?.. Зачем гостя?.. Какой гость?..
Мирской?

Монах воззрился на меня, но, очевидно, ничего не рассмотрел. Пятном я ему казался. Кстати подошла другая братия. Всего живут здесь трое отшельников, среди тяжелого молчания утесов и гнетущего говора волн. Отсюда даже и судов, проходящих мимо, не видать — не плывут они этою сторонкой, — и ни один парус не серебрится под солнцем на спокойном просторе Ладоги.

— Какая тоска! — невольно вырвалось у меня.

— Пустынникам и отшельникам чудесно!

— Что ж хорошего?

— Над ними промысел Божий!.. Тут точно ты всегда в алтаре находишься. Такое чувство проникает тебя, будто и днем, и ночью пастырь незримый над тобою бескровную жертву возносит!

Золотая чаша этой бескровной жертвы [199] не заставила себя ждать. Ярко ослепляя нас, опустилась она на западе в море, где совершалось в это время священнодействие умиравшего и приобщавшегося дня. День

умирал долго, долго боролся он со смертью — голубою смертью северной ночи, пока бес- сильно не закрыл свои мало-помалу тускнув- шие очи. Остров Дивный в сумерках выдвигался какой-то неприветною, грозною массой.

— Отец Дамаскин на этот Дивный остров хотел отшельника совсем одинокого посадить!

— Что ж помешало?

— Да не созрел еще отшельник... Неоткуда снять его покуда. А хорошо!..

Тогда остров стал бы совсем могилой для живого трупа.

— Скажите, к такому отшельнику никого бы не допускали?

— Никого и никогда!

— Ну, а если б заболел?

— Что ж... Недужный, в одиночестве, тут-то он и узнает перст Божий, тут-то он и узрит Бога, заботящегося о нем или карающего его!

Что-то изумительное было в погребении живого на гранитной глыбе. Лес, гагары и камень. Небо — вверху, шумные волны — внизу... И больше никого и ничего. Воображаю, с какую тоскою бродил бы он по крутым и хао-

тическим осыпям этого берега, с каким отчаянием вглядывался бы в пустынные дали!.. Не занесет ли судьба кого-нибудь, не послышится ли где-нибудь человеческое слово, хоть на чужом ему языке, хоть совсем непонятное... И чего же удивляться, если утомленному безмолвием слуху стало бы грезиться, утомленному однообразием скал и леса глазу — чудиться... И если пустыня населится духами света и духами тьмы, если сам Бог, грозный и великолепный, сойдет со Своего недоступного трона на эти утесы, если заживо схороненный отшельник станет беседовать с созданиями своего воображения, — он созреет, он будет готов. Тогда духовидец, являясь перед здоровыми людьми, заразит и их своим убежденным помешательством. Больной, одинокий отшельник, влияя на умы, станет со своего безлюдного утеса тысячи видений посылать к верующим ему людям!.. Фантомы смутных призраков будут носиться вместе с вечерними туманами над этою гранитной твердыней — в голосе бури они заплачут, в легком шуме ветра засмеются ему, в ропоте волн и говоре леса станут прорицать грядущие тай-

ны. И когда, сторев от нечеловеческой борьбы, отшельник умрет в одном из черных гротов своего острова Дивного — он не погаснет в памяти людей, он долго будет тревожить их сон, долго будет являться им воочию, в уединении одиноких послушаний, то среди скал такого же уголка, то в чаще черного леса, под унывную песню дрозда, под тихое дыхание, лениво пробегающее по вершинам леса...

Иноческая драма

— Тут вот скит купца Тиманова есть у нас! Мы вошли. Несколько чисто содержимых келий, древние иконы любопытного письма, чудной работы святцы в виде скрижалей[200]. Рассматривая их, я вспомнил художественное описание таких же, сделанное г. Лесковым в его "Запечатленном ангеле". Миром и тишиною веет. Заснуть, замереть хочется на время. Энергия падает, ум перестает работать...

Здесь, в Авраамиевом ските, долго жил одиноко молодой послушник, сын миллионера-купца, известный на Валааме своим ранним благочестием и своею трагическою судьбою.

Назовем его хоть Тимановым.

Рос он в фанатической семье, под влиянием богомольной матери, вечно окруженной странниками, странницами, монахами, инокинями. Ни одного живого слова не слышалось кругом, и молодое воображение, еще только что окрылявшееся, было занято все-

возможными таинственными явлениями, чудесами, рассказами о суровом подвижничестве, о лишениях, где дух человеческий являлся победителем даже над природой... В том возрасте, когда отрок, уединяясь от товарищей, мечтает о кругосветных плаваниях, о приключениях под горячим южным солнцем, о дивах тропической природы, о царстве науки, в которое он войдет полноправным гражданином, о кровопролитных битвах, о триумфах, о склоняющихся перед ним знаменах, наконец, о чудном, но пока еще смутно намечающемся образе любимой женщины, — Тиманов в затхлой, закупоренной от всего света, пропитанной дымом ладана и запахом кипариса спальне своей матери только и грезил о сожженных небом песках и пустынях Палестины, о дебрях Валаама, где в ночной тишине и уединении спасаются от козней мира греховного святые старцы, о безлюдных островах Северного океана, где в, самом царстве мертвящего мороза можно поставить новые обители... Этот восторженный отрок уже от души ненавидел мир, мир ему неведомый, только мельком светивший своими грехов-

ными соблазнами сквозь просветы вечно опущенных занавесей душного дома родительского. Несчастный мальчик воображал себя в черной мантии схимника, с белыми крестами и белыми черепами, нашитыми на грудь, со страшными глаголами отречения ото всего, что дышет и чувствует, обвивающими вязью его голову... Ему ненавистен был блеск молодых глаз, сила выхоленного на купеческих кормах тела... Ему хотелось, чтобы эти глаза скорее потускли, загноились, заслезились, чтоб его щеки ввалились и стали землистыми, чтобы роскошные кудри жидкими серебряными прядями обрамляли измученное лицо, чтобы руки его стали немощны, ноги слабы... Короче, идеалом являлись те самые странники, которых почтительно, под руки, с глубоким благоговением вводили в комнаты его матери, — те самые старцы, которых слова казались всем, его окружающим, глаголом самого Бога живого... Даже во сне он не был молод, этот зачумленный юноша. Он не просыпался с краской на лице, со сверкающими глазами, с порывисто дышащею грудью... Вскакивая с постели, он не всматривался

недоумевающим взглядом в ночную тьму, ожидая увидеть в ней другие, зовущие очи... Для него в воздухе весны не был растворен поцелуй любимой женщины, и теплый ветер мая не будил в его сердце целого роя еще неуловимых, но уже сладкою истомой охватывающих ощущений. Во сне ему являлось все то же призрачное царство подвижников, та же мати зеленая пустыня звала его к себе, в свои затерянные кельи, те же сухие иконописные лица наклонялись к его изголовью... А когда он просыпался, ему казалось, что в душном воздухе его спальни еще вздрагивают последние отзвучия похоронных молитв... При тусклом свете лампад, замирающих перед почернелыми иконами, лица святых принимали грозное выражение, и Тиманов вскакивал с постели и, рыдая, простирался перед ними ниц.

В такой среде рос будущий подвижник.

Четырнадцати лет он, неведомо куда, скрылся из отцовского дома.

Искали, искали — не нашли: Тиманова в Петербурге не было. Только через неделю пришло письмо от славного тогда уже игуме-

на валаамского о. Дамаскина. Он извещал отца, что юноша, прибыв в обитель, облекся в одежды послушника, изъявил желание остаться навсегда в монастыре и решительное намерение не возвращаться в мир, причем просил самых жестоких послушаний. О. Дамаскин видел в этом перст Божий. Для определившегося фанатика-монаха тут уже не могло быть вопросов и колебаний. Призвание к подвижничеству сказывалось, да притом же Тиманов-отец — миллионер и может быть полезен обители. Дамаскин знал, с кем он имеет дело. В этой среде слово его было властно — и юноша остался на Валааме. Иноки деятельно занялись будущим подвижником: Тиманова поместили на остров Иоанна Предтечи к Молчальнику, и юноша сразу попал в тот заколдованный круг вечного безмолвия, облитых слезами молитв и борьбы с жизнью, прорывавшейся сквозь все поры его организма, — в тот душный, затхлый мир, о котором он так давно и так неотступно мечтал.

Проходили месяцы. Кругом шумело бурное озеро. Тучи небесные порою посещали отшельников, подолгу застаиваясь на их утесах.

Непогоды громовыми раскатами беседовали с суровою пустыней. В таинственной чаще леса, в шуме тихого ветра, в шепоте листьев слышались чудесные голоса. В сумраке, густившемся между старыми стволами вековых сосен, в тумане среди утесов мелькали какие-то силуэты, проступали и снова расплывались бледные лица... Юноша жил в чудесном сказочном мире, и, когда, по ночам оставался он в темной, ни одною лампадкой не озаренной церкви, такой же убогой, как убога была сама пустынь, — ему мерещилось, что за окнами сошлись и глядят на него тысячи призраков. Один перед лицом их, он свидетельствовал славу Божию, и призраки с печальным воем улетали от вещей слов грозного заклатья. Отрок уже повелевал ими — страшными созданиями своего больного мозга. Скоро самые стихии станут ему повинаться и, когда он прострет руку, бурное озеро смолкнет у отвесных берегов, туча замрет на небе, ветер упадет наземь, как подстреленная птица, а громовой раскат оборвется на полутоне... Возбужденный во время бури, с поднявшимися дыбом волосами, он выбежал на

гору из своей кельи и, простирая к небесам руки, говорил Богу, а когда белый зигзаг молнии прорезывал тьму, ему чудилось в огнистой струе знамение, а в грохоте бури — откровение.

Проходили годы.

Раз отец Тиманова приехал сюда. Он хотел съездить к святым местам и поклониться гробу Господнему. Старик пожелал взять сына с собою. Опытный, все это переживший, черноризец Дамаскин убеждал его не делать этого — он боялся за восторженного послушника, который еще не окостенел, не замуровал своей души, не покрылся черною броней иноческого бездушия... На помощь отцу пришел и сын. В его воображении уже легла в бесконечную даль выжженная солнцем Палестина, каменные скалы Вифлеема и Назарета[201] рисовались лиловыми тенями на золотых песках ее. Священные стены Иерусалима вот-вот перед ним. Он, казалось, сам уже попирал эту землю, где Бог являлся человеком и человек Богом, где говорили камни, где в каждом кусте, в каждой купине чудилась скрытою какая-то священная тайна...

Тимановы поехали.

Восток на Тиманова не произвел ожидаемого впечатления.

Он видел, что религия там стала торговлей, чудеса и священные остатки прошлого — товаром, жрецы и монахи — купцами, богомольцы — эксплуатируемыми покупателями. Всюду, на самых священных местах, где сердце его билось живее, а глаза застилались слезами дивных воспоминаний, он видел безнаказанное мошенничество, подлог и вымогательство... Отчего молчат грома небесные? Где та сила, которая некогда огненным дождем истребила менее виновные города Содома и Гоморры?.. Первое сомнение родилось у Тиманова, у этого восторженного мальчика, там, где бы, напротив, его благочестие должно было окрепнуть и вырасти... Вместе с отцом Тиманов вернулся в Киев. Тут ему пришлось встретить брата, окончившего курс за границую. Это оказался реалист до мозга костей, умный диалектик, знающий, начитанный. Понятно, какие отношения должны были развиться между ним и мистиком, еще не решавшимся снять свою скуфейку... Послед-

ним верованиям его, еще незыблемо стоявшим в душе, были нанесены умелою рукою роковые удары... Всё в Тиманове пошатнулось, туман вокруг стал еще гуще. Где истина, где ложь?.. Пути перепутались. Даже ощупью нельзя было двигаться в этом лабиринте, в этом хаосе: старых грез, колеблющейся веры, вошедших в кровь и плоть привычек, жажды экстаза, созерцания и бешеного вихря сомнений, сметавшего на своем пути все, что ему попадалось, и оставлявшего за собой одну страшную, ничем не наполненную пустоту... Знаний не было, прошлое не создало никаких новых идеалов, и, когда развенчанные идолы упали, оставшийся посреди развалин мистик не знал, куда ему уйти, что делать, к чему привязаться. Отца Дамаскина под руками не было, да едва ли и он что-нибудь бы сделал. Тут боролись не его оружием — реальные истины вставали лицом к лицу с призраками, и темная ночь сменилась зловещими сумерками, в которых оказалось еще труднее разобраться. Они были настолько именно ясны, чтобы видеть крутом скрытые ночью опасности, но не настолько светлы, чтобы указать

путь спасения, выход.

Купеческий разгул довершил остальное. У миллионера оказалась масса друзей, день за днем, как снежинки в метель, неслись головокружительною вереницей. Очнуться было некогда.

Да Тиманов и не хотел очнуться.

Так шло не знаю сколько времени.

Он ничему не умел отдаваться вполонину: как в мистицизм он ушел с головою, так теперь он нырнул на самое дно водополя[202]. Понятно, что старое должно было сказаться. Когда все кругом надоело, когда наступили трудные моменты пресыщения, в тумане обрисовались прежние идолы. Старые капища вспоминались, и молодой язычник в суеверном страхе бежал от них опять в разгул, в разврат, в бесшабашное прожигание жизни... Но прежнее возвращалось все чаще и чаще... Голоса, которые когда-то живо говорили душе, опять стали слышаться. В бессонные ночи ему чудился таинственный мрак убогой церкви одинокого скита, — церкви, окруженной когда-то побеждавшимися им призраками. Перед глазами рисовались величавые скалы

Иоанна Предтечи, облитые его слезами, слышавшие его восторженную молитву... Кругом мелькали укоризненные лица молчальников и схимников. Застоявшийся воздух вздрагивал и долго трепетал от чьего-то грозного и неумолимого проклятия. Бежать назад — туда, в этот старый Валаам, — бежать, броситься на колени перед Дамаскином, вымолить прощение, опять уединиться на одинокую скалу среди пенистых волн... Но тут являлись сомнения, поколебавшие его веру, — новые истины, чуждыми пришельцами вошедшие в его опустевшее и равнодушное к ним сердце... Куда деваться, где выход?.. Душа билась, как свобододлюбивая птица в клетке.

Конец можно было предвидеть недобрый. Никто кругом не понимал этого — не такова была среда!

Измученный окончательно и бесповоротно сбившийся со всех путей, усталый Тиманов в одну бессонную ночь застрелился. Чтобы покончить со всеми этими муками, нужно было насквозь пробить череп.

Валаамские иноки, получив телеграмму об этом печальном событии, даже панихиды

[203] не отслужили по нем.

— О самоубийцах молиться нельзя — грешно!

— Самим Богом проклят он был достойно и праведно!

— Почему же проклят, за что?

— Кто, раз войдя в обитель, оставит ее, тот проклят вовеки, и молиться за него не подobaет. Хуже Иуды он! — И высокий худой монах, говоривший со мною, поднял руку, точно он хотел еще раз предать несчастного анафеме[204].

— Жаль малого, — говорят более добросердечные иноки. — Какой богомольный был — послушный!..

— Отца Дамаскина более, чем родителей, почитал. Сколько на обитель жертвовал! Истинно, рука не оскудевала!

— Свободы хотел... А теперь был бы у нас иеродиакон! — вздохнул простодушный о. Виталий.

Железняки еще сумрачнее показались нам после этого эпизода.

Возвращаясь назад, мы свернули в сторону. Добрый о. Пимен хотел показать мне кра-

сивые озера. Их два, отделенные узким гребнем в две сажени ширины. Тишина кругом мертвая. Птица не шелохнется, не дрогнет ветка. Вода неподвижна. В вечернем сумраке оба озера точно закутались в облака кудрявых берез и спят. Пусть будет тих и его сон — бедного мученика, не нашедшего после своей ранней смерти даже слова молитвы...

На одном из поворотов пути олень мелькнул мимо.

Издали слышался глухой рев буруна. Тягучие звуки колокола доносились издали печальные, сумрачные...

Пусть будет тих твой сон, жертва вечерняя!

Спи, усталый, — отдыхай, измученный!

Отец Пимен. — Борьба начал

Кандидат университета — убежденный монах, замечательный ученый — мечтающий о схиме, талантливый писатель — посвящающий себя защите аскетизма... Этого, как Тиманова, жизнь не зовет, сомнения его не волнуют — в нем все цельно, выработано, закончено. Противу всяких вопросов он замкнулся в броню схоластической диалектики [205], принимая ее условные формулы за непреложные истины. В высшей степени симпатичный, кроткий и незлобивый, он дошел до полемического бешенства, отвечая о Благовещенскому на его книгу об Афоне, и в то же время свою резкую отповедь чисто монашески назвал: "Словом любви"[206]. В действительности это человек благожелательный, добрый, с чуткой и поэтической душой — несомненно глубокий ум, развитый еще большим научным образованием. Отец Пимен работал не только в университете, он и в обители не отрывался от книг, которые свободно прочитывает на нескольких языках.

Среди невежественного в этом отношении Валаама о. Пимен — явление резко выделяющееся. Невольно задаешься вопросом: как он не задыхается здесь, как он не ищет другой обители, где бы ему просторнее было работать, где бы среда была более подходящая?.. Предложите ему такой вопрос, и о. Пимен с жаром ответит вам, что лучше Валаама нет обители, что еще только здесь во всей своей чистоте сохранилась жизнь иноческая, что он давно забыл своих родных, и Валаам стал его семьей, его домом, его родиной и будет его могилой... И Валаам тоже относится к о. Пимену как к своей гордости и славе. Ему не только не мешают работать — напротив, ему дают средства на выписку всевозможных апологетических книг[207], списков Священного Писания, казуистических трактатов по богословию[208] — и все это, по крайней мере, на пяти языках, О. Пимен — один из тех иноков, на которых зиждется строгий склад валаамской жизни. Он — его защитник, он его осмысливает и поддерживает всеми мерами. По приходе в обитель, он прошел через все послушания, и даже на черной работе его держали це-

лый год. О. Дамаскину, видите ли, любопытно было узнать, нет ли в молодом кандидате университета гордыни и строптивости. Все это о. Пимен совершал с кротостью, примирившей с ним самых невежественных монахов. И о. Никандр недаром говорит о нем:

— Поди-ка другой выдержи такой экзамент!.. Наш о. Пимен — светильник иночества!

Вы его не смутите никаким роковым вопросом. Гибкий ум сейчас же подскажет ему ответ на него, и хотя этот ответ иногда несколько смахивает на казуистический лад, но, тем не менее, вы видите, что в душе у молодого "старца" все спокойно и бесповоротно решено.

— Бывало, в обители чья душа смутится, — повествовал тот же о. Никандр, — ну, сейчас к настоятелю: благословите к отцу Пимену в келью сходить... Поговорит смятенный инок с Пименом — ну, и опять сердцем здрав!

А разговор с ним, действительно, высокое наслаждение. Отриньте подкладку его рассуждений, любуйтесь только неожиданными оборотами этой плавной и остроумной речи.

Не раз вас изумят поэтические сравнения, вскользь, но художественно наброшенная им картинка. Видно, что о. Пимен не только много передумал, но не менее и прочувствовал.

Я его застал заваленным книгами.

Из-за кресла его кельи совсем и не видно было маленького монаха. При этом, несмотря на чуть ли не пятидесятилетний возраст, лицо — двадцативосьмилетнего молодого человека, ясное, спокойное, с острыми глазками, с умной улыбкой. Маленькая, чуть заметная бородка, светлые волосы, густо падающие назад, оставляя открытым хорошо сформированный лоб.

— А, спаси Господи!.. Благодарю, что зашли! Спаси вас Бог!

— Я помешал вам, вы занимались?..

— Да, тут интересная работа, но с живым человеком все же лучше, чем с книгой!

— Над чем это вы?

— Да вот синайские списки Священного Писания сравниваю... Над Тишендорфом[209] вожусь!

Перед отцом Пименом разбросаны рукописи и фолианты на пяти языках. Маленький

старец, погрузившийся перед тем в целый океан учености, кажется в эту минуту вынырнувшим и с удивлением озирающимся на весь Божий мир. Еще бы городом, суетой запахло тут, среди всех этих синайских вершин, горящих купин, поэтических чудес древнего Египта!..

Валаамские монахи смотрят на каждого своего товарища как на живую силу, обязанную приносить им известную долю пользы. Так и отца Пимена они не могли оставить в покое. Он у них письмоводителем. На его руках контора и вся переписка, и притом переписка большая, потому что ее приходится вести и с синодом[210], и с митрополитом, и с консисториями[211], и с ландсманами[212] якимваарским и сердобольским, и с центральными учреждениями Финляндского княжества. О. Пимен поэтому стал и юристом. Короче сказать, если самая обитель может быть сравнена с громадным, на сорока островах разбросавшимся, непрерывно работающим организмом, то мозг этого организма заключен в двух небольших кельях — о. Пимена да о. Афанасия. Я уже говорил, что беседа с

о. Пименом в высшей степени приятна. Он удивительно отзывчив, и каждая ваша мысль, сказанная вскользь, в нем не пропадает, а напротив, вызовет соответствующее и всегда яркое представление. Говоря с вами, он при случае схватывает подходящую немецкую или французскую книгу, читает вам из нее *a livre ouvert*[213] по-русски целые страницы, причем вы вовсе не замечаете натуги, дубоватости перевода. Напротив, если возможно так выразиться, эта импровизация передачи с другого языка является изящной, легкой, образной. Во время этого он наталкивается на какое-либо интересное примечание, и перед вами уже другая книга, на ином языке... Все это вместе производит на вас, разумеется, грустное впечатление. Сколько ума, энергии и таланта, и как они потрачены!.. Вам становится просто страшно за человека... Я пробовал о. Пимену рассказывать о "суетном мире", как говорят тут; слушает он с величайшим вниманием. Вы видите, что все это его интересует живо, но как монаха, который замечает во всем только подтверждение своих аскетических идей или материал для

поучения. Иного — нервного, манящего, за-
влекающего влияния они на него не произво-
дили. Видно было опять-таки, что этот чело-
век весь, до конца ногтей своих, выработался
вполне... Из него должен быть превосходный
проповедник, не из тех, что вместе с вами
плачут вашими слезами, делят вашу
скорбь, — нет, этот иного сорта. Со своей ка-
федры он будет говорить как с Синайской
вершины: и люди, и их страсти, и их муки бу-
дут ему казаться мелкими; мысль и вообра-
жение его станут витать в безграничном про-
сторе чистого неба, и в словах его будет отра-
жаться оно — спокойное, величавое и, ска-
зать правду, равнодушное к чужим бедстви-
ям и испытаниям...

Я уже говорил несколько раз о глухой
борьбе старого подвижничества и нового про-
изводительного характера монастырей. Отец
Пимен — ярый защитник древнего иноче-
ства. В нем воскресает старый Валаам, с его
молчальниками, схимонахами, пустынника-
ми, затворниками, прорицателями и юрод-
ствующими, древний Валаам бревенчатых
срубов, келий, затерянных по бездорожью в

глуши лесной, диких пещер, где в черной тьме вместе со змеями жили отшельники, — Валаам обледенелых уступов, по которым, поддерживаемые ангельскими крылами, черноризцы сходили вниз за водою, — Валаам первобытной дичи и беспросветной глуши.

О. Афанасий мне кажется представителем иного типа. Он не умеет говорить, зато строит водопроводы, изобретает машины, возводит дворцы для коров и храмы для коней. Это совсем противоположное течение, и между ним и древним Валаамом нет ничего общего. Пока был в полной силе о. Дамаскин, он старался примирить их. Он строил скиты для первых и заставлял работать вторых. С его уходом со сцены два начала выступили одно против другого во всеоружии. Между ними началась борьба, но борьба монашеская, смиренная, со взаимными поклонами и лобызаниями с "Христом посреде нас" и в то же время с полным отрицанием друг друга... Предугадывать победу нового Валаама нетрудно, но эта победа будет победою суетного и "прелестного" мира вообще над монашеством. Монастырь, как рабочая община с машинами, заводами,

громадным хозяйством, но без подвижничества, будет уже не иноческой обителью. Во что он выродится — в лучшее или худшее, — другой вопрос. Я говорю только, что древний склад иноческой жизни стал теперь лицом к лицу с новыми веяниями, и если он энергично борется за свое существование, то это — энергия отчаяния, это — энергия последних язычников александрийских[214]. Новое идет ему навстречу, и еще через несколько десятков лет пустытники, схимники, затворники станут поэтическими преданиями прошлого...

— Не монашеское это дело, — говорят защитники прошлого о затеях валаамских строителей. — Не Вавилонские башни мы воздвигать должны. В воде, которая прежде промыслом Божьим собиралась в каменных выбоинах, благодать была, а ныне мы сверлим колодцы и гранитом их обшиваем... Все — для удобства и ничего для души. В одном Иоанне Молчальнике больше смысла и света, чем во всех этих сооружениях египетских. Иноку они не нужны. Я понимаю, храм должен быть великолепен. Воздвигай собор хоть до обла-

ков, украшай иконы златом и камнями самоцветными, поставь, стены из яшмы и порфира, но кельи и хозяйство должны быть скудны, строения рабочие убоги... А у нас обратно — конюшни переросли обитель и давят ее!

— Что толку в схимниках, — думают последние монахи из рабочих. — Что ж, что он молится?.. От его тысячи поклонов какая користь обители?.. От этого стены наших келий не упрочатся, и хозяйство не уширится... И в затворнике какой толк?.. За ним еще ходить надо, а тут каждая рука на счету при постройке. Светского нанять — деньги ему плати. А по-моему, кто во имя святых обители колет камень в горе, так он Господу Богу еще угодно и милее!

Тот же евангельский старый спор между Марфой, пекущейся о многом, и Марией[215], избравшей себе благую часть.

Понятно, что между двумя этими течениями ничего общего и быть не может. Выходя из одного русла, они далеко устремляются один от другого. Первое теряется в незапамятной старине, бежит туда, где смутными при-

зраками встают идеалы первых синайских отшельников, а второе уходит все в будущее — туда же, где находит свои идеалы и социализм с его общим трудом, с его равенством прибýtка, с его принесением личности в жертву общему... Старые обитатели, напротив, общее приносили в жертву личности. Иногда целый монастырь существовал для двух или трех юродствующих или прозорливцев... Еще раз говорю, двум этим течениям не ужиться в общем русле. Нужна была сильная воля и аракчеевская прямолинейность о. Дамаскина, чтобы удержать их вместе, да и он долго бы не выстоял — вода бы смыла поставленные плотины, и две реки далеко бы отбежали одна от другой... И на Валааме теперь братия уже относится смешливо к своим светильникам.

Отец Антиппа, из болгар или гречанин, братия сама не знает толком, в ските Всех Святых — совсем древний тип инока. В заутреню на Светлое Христово Воскресенье, при первом восклицании "Христос воскрес", он первый устремился к священнику. Схимник этот всеми уважаем здесь и богомольцам вы-

ставляется как образец иноческого блеска. Тем не менее братия возмутилась.

— Куда ты, шалды-балды... Куда ты, братушка!.. Стой, стой! — стали его останавливать.

— Христос воскрес! Христос воскрес! — обернулся он к ним с радостным лицом и слезящимися глазами, все-таки стремясь прежде других вперед.

В этом сказалось многое. Первым нужен формализм, иерархия, порядок; второму экстаз и непосредственность.

— Что ж, что схимник! — говорили мне в одном монастыре. — Вон он замкнулся в гору и живет там — знать ничего не хочет... Ходи за ним!.. Давеча митрополит приехал, так схимник и митрополита не почтил... Ишь, какая в нем гордость сидит непомерная!.. А по моему, отец Антонин-механик все же нам лучше его — от него польза!

Греческие монастыри — те в этом случае более соответствуют идеалу монаха.

— Инок вовсе не должен заботиться об утрии! Иноку утрие чуждо. Он должен к смерти готовиться. Вот его идеал!

Чистые иноки дальше идут.

— Вот, говорят, государству деньги нужны. Денег нет — ничего и делать нельзя, голод, скудость во всем. Да разве в обителях мало денег? Возьми их, все драгоценности продай.

— Это убьет монастыри! — возражают другие.

— Не монастыри убьет, а умалит их — это точно. Тогда которые не настоящие иноки, а язычники в рясах, те уйдут, и слава Богу. Он в любой купеческой лавке пригоднее, чем в обители. Останутся настоящие черноризцы, которые и со скудостью примирятся!

Прощание с монастырем. — На пароходе

— Пароход идет! — влетел в мою комнату, как бомба, один из купеческих саврасов.

— Наконец-то!.. Нужно торопиться.

— Ну, уж и измаялся я!.. Оно знаете, точно, что это святыня, и святыня великая, но уж очень неумеренно.

— В каком смысле?

— Во всех смыслах!.. Тятенька у нас человек жестокий и уж если пожелает своему характеру подражать, так без всякого пардону... Помилуйте, легко ли — два месяца меня выдержали здесь, опять же табаку нельзя достать, водки и даже для здоровья... Ну, уж зато я и закачу!..

— А он вас опять сюда, да за работу...

— Нет, у него на это свой закон... Он год терпит... Значит, этот год я могу... А через год либо сюда, либо в Соловки ушлет... Сделайте одолжение, это у него верно, как по векселю. Ну, только уж и святыня!.. Благолепно и духо-

радостно, только бы ежели не месяц... Здесь помолиться можно. От всех грехов очистишься и напередки еще останется...

Пароход только что причалил.

На берегу стояла толпа вновь прибывших богомольцев. Толстый и солидный монах тащил на веревке маленькую собачку. Собачка упорствовала и визжала — видимо, растерялась совсем.

— Ты ее, отец Агафон, поцуцкай! Ишь, зверь тоже.

Отец Агафон цуцкал, но толку от этого не было никакого. Собака, очевидно, думала, что ее ведут топить, или вообще питала очень мало веры в добрые относительно ее намерения инока.

— Куда это вы ее?

— А для показания знака.

— Как так?

— У нас острова есть пустынные. Иноки уйдут в лес, финны приедут и берут все... Ну, а собачка будет лаять.

Какой-то отставной военный, в точно накрахмаленном картузе, допрашивал монаха:

— В какую мне гостиницу идти?

— Вон в ту, общую...

— Отчего же в общую?.. Что ж, номера там?

— Нумера по-нашему кельи...

— Есть хорошие?

— Одинаковые...

— И для генералов одинаковые? — обиделся военный.

— У нас и генералу препятствий нет... Живи!

— Для генералов следовало бы отдельно.

— Что ж, нам их на колокольню запирать, что ли? Там птица... Птица — она глупая, что ей?..

Сполз с парохода пьяный, но его стащили обратно на пароход.

— Я помолиться хочу... Преподобным молебен отслужить! — орал он с борта.

— Вытрезвись сначала.

— А хо... ршо, если так. Вот вам! — совершенно неожиданно он сорвал с себя сюртук и бросил в воду. — Вот и еще! — и за сюртуком полетел галстух. Стал было и дальше растягиваться, да его уволокли в каюту.

— Искушение с этими мирскими! — рас-

суждали монахи. — То есть... Один идет — на все колокольни крестится, а о. Паисий у него из кармана бутылку с водкой вытащил. Что ж бы вы думали: побелел, весь дрожит. Осатанел совсем от злости!



*Сполз с парохода пьяный,
но его стащили обратно на пароход.*

Я не могу объяснить того чувства, которое охватило меня, когда я сел на пароход, когда он, хрипя, вздрагивая и выбрасывая клубы черного дыма, отчалил от набережной Валаама. Вокруг меня свободный говор. Женские лица — улыбающиеся, полные жизни и счастья... Дети возятся тут же... Один черноглазый мальчуган подкатился мне под ноги.

— Ты где это глаза запачкал? — любуется дама прелестными глазами ребенка.

— Я чернику ел! — наивно отвечал он.

Удивительно светел и радостен кажется мир. Все тебе кругом друзья и братья.

А Валаам, закутавшись в зеленые облака своих лесов, уже отходит назад. Вот блеснул купол Иоанна Предтечи... Вон Всесвятский скит точно вынырнул и опять потонул в зеленом царстве. И чем дальше отходили мы, тем более чуждыми казались душе молчальники, пустынные, схимники... Точно ничего этого и не видел, а так — прочел какую-то дивную сказку. С первым лучом рассвета строгих призраков как не бывало... Открыл глаза... Солнце бьет в окно — тепло и светло кругом... Вольный ветер бежит мимо, зовет с собою... Сна будто и не бывало! Далеко, далеко отлетел и рассеялся без следа...

В снастях свищет. Пароход скрипит. Волны гонятся за ним — не догонят. Тучка жемчужная тоже догнать хотела, да не смогла, вытянулась по небу и бессильно отдыхает. Сильнее дуй, вольный ветер, — здесь твое царство!



Об авторе этой книги

Имя Владимира Ивановича Немировича-Данченко, известного драматурга и театрального деятеля, знакомо многим, но мало кто сегодня помнит о старшем брате основателя Художественного театра — русском писателе Василии Ивановиче Немировиче-Данченко. А ведь когда-то это имя знала вся читающая публика — его произведения имели самый широкий читательский успех, постоянно переиздавались, и ни один новый роман, рассказ или очерк не был обойден вниманием критики.

Родился Василий Иванович Немирович-Данченко 24 декабря 1844 г. (по новому стилю соответственно 5 января 1845 г.) в Тифлисе в семье офицера, служившего на Кавказе (в ряде источников дата рождения дается другая). Детство его прошло в горах Дагестана и в Грузии, в краю, дарившем вдохновение стольким русским писателям и поэтам. Быть может, именно близкое знакомство с кавказским походным бытом, полным опасностей и приключений, родило в душе маленького

мальчика, а в будущем знаменитого писателя, жажду путешествий, стойкость в испытаниях, которые окажут такое огромное влияние на всю его взрослую жизнь. Но отрочество несет свои неизбежные перемены: десяти лет Немировича-Данченко увозят в Москву и отдают в Александровский кадетский корпус. Еще будучи кадетом, Василий Иванович начинает писать стихи. По выходе из корпуса в 1863 г., он переезжает в Петербург и там познает все трудности жизни начинающего писателя, жизни литературного поденщика: печатается во всевозможных газетах, листках, тонких журналах, берется за любую литературную работу. Однако судьба указывает новые пути: "крестным отцом" молодого писателя, распахнувшим перед ним двери главных "толстых" литературных журналов, стал Н.А. Некрасов.

В начале 70-х гг. Василий Иванович жил на побережье Белого моря, в Архангельске. Вот оттуда он и обратился к Некрасову с просьбой опубликовать в "Отечественных записках" несколько своих стихотворений. Некрасов принял участие в судьбе молодого

литератора: в 11 номере журнала за 1871 год появляются пять стихотворений под общим заглавием "Песни о павших" за подписью "Д".

Русский Север, дыхание ледовитых просторов отныне наполняют жизнь Немировича-Данченко, открывают перед ним безграничное пространство творчества. Он пишет ряд очерков: "С океана. Очерки Севера" (1874), "Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами" (1874), "За Северным полярным кругом" (1876) и др., которые появляются в ведущих литературных журналах "Отечественные записки" и "Вестник Европы" и впоследствии выходят отдельными изданиями. Именно в жанре "путевых заметок" ("литературных путешествий") раскрывается во всем блеске дарование писателя, тонкого, наблюдательного, которого влекут к себе все новые и новые проявления жизни человека, природы. Малоизвестный этнографический материал, пейзажные зарисовки, различного рода занимательные рассказы о дорожных приключениях, встречах и беседах — все это читатель сможет найти в книге, которую держит в руках. Во всяком случае, читатели и

критика прошлого сразу же обратили внимание на произведения талантливого автора.

А Немирович-Данченко продолжает путешествовать и завоевывает себе репутацию "писателя-туриста". География его поездок расширяется: помимо очерков о путешествиях по Кавказу и Русскому Северу, Уралу и Югу России, появляются рассказы о дальних странах (Германии, Голландии и Испании, Малой Азии и Африке), о быте и нравах неведомых народов, экзотической южной природе.

Однако более всего способствовала известности Немировича-Данченко работа военным корреспондентом в 1877–1878 гг. во время русско-турецкой войны. Это была первая в истории Отечества война, на фронта которой, в действующую армию, были допущены корреспонденты. И Василий Иванович оказался одним из них. Он принимал участие во многих военных действиях: в боях на Шипке, под Пленною, в зимнем переходе через Балканы, и получил солдатский Георгиевский крест. Военные впечатления дали писателю материал для художественной биографии Скобелева — генерала, героя этой войны — "Скобелев"

(1882) и нескольких романов, в которых действуют его любимые героини — сестры милосердия: "Гроза" (1879); "Плевна и Шипка" (1881); "Вперед" (1883).

1904 год. Началась русско-японская война. И Немирович-Данченко снова оказывается на полях сражений. Из Маньчжурии он отправляет свои корреспонденции в газету "Русское слово".

Несмотря на свой возраст, Василий Иванович принимал участие и в первой мировой войне, конечно же, в качестве корреспондента.

Кажется, нет такой стороны жизни русского общества, которая не нашла бы отражение в его многочисленных "мирных" романах и повестях: крут банковских воротил — "Цари биржи" (1886); монастырский быт — "Монах" (1889); мир театра — "Кулисы" (1886); жизнь российской глубинки — "Волчья сыть" (1897) и т. д.

Критика может иногда "ругать" писателя за некоторый схематизм и склонность к внешним эффектам, но читателям нравится увлекательный сюжет его произведений, их

стилистика, мастерски завязанная интрига и те самые театральные эффекты, которыми бывают недовольны критики.

Немирович-Данченко писал и мемуары, его перу принадлежат воспоминания о Н.А. Некрасове, опубликованные в "Литературном наследстве" (кн. 49–50, М., 1946). За всю жизнь им написано и выпущено в свет около 250 книг. Это очень много.

Октябрьскую революцию Василий Иванович, как говорится, не принял. В 1921 г. высла- ны за границу многие деятели культуры, на- уки и искусства. Среди них был и Немиро- вич-Данченко. Умер он в Праге в 1936 г. А на родине писатель и его произведения были за- быты. И все-таки русский писатель Вас. Ив. Немирович-Данченко после долгих лет забве- ния вернулся в Россию, потому что верну- лись, возвращаются к читателю его книги, в которых была вся его жизнь.

И.В. Лебедева

Комментарии

Книга Василия Ивановича Немировича-Данченко о поездке на Валаам была написана в 1882 г. и вышла двумя изданиями под названием "Крестьянское царство" (СПб., 1882; Спб., 1889). Кроме того, под названием "Валаам" писатель включил ее в свой сборник "Наши монастыри. Очерки и рассказы" (СПб., 1904) и под названием "Крестьянское царство. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами" во 2-й том своих "Сочинений" (СПб., 1904). Книга "Мужицкая обитель" (СПб., 1911), по тексту которой печатается настоящее издание, представляет собой сокращенный вариант "Крестьянского царства" (сокращения незначительны), вышедший в серии "Для юношества, семьи и школы" издательства "Просвещение".

Примечания

Салма (фин.) — пролив между островами или между островом и берегом.

[^^^]

Шкера (швед.) — шхера, небольшой, преимущественно скалистый остров вблизи морского побережья, густо усеянного мелкими островками.

[^^^]

3

Нерпа — разновидность тюленя.

[^^^]

Лодка-сойминка — маленькая одномачтовая двухвесельная лодка, которой пользовались на Валааме для сообщения между островами (Валаамский архипелаг состоит из более чем 40 островов) и для ловли рыбы. Сойма — большая палубная лодка на Ладоге, на которой обычно перевозили на Валаам богомольцев.

[^^^]

...из сердобольской ярмарки... — Сердобль — город Выборгской губернии, примерно в 45 км от Валаама, основанный в 1617 г.; с 1918 г. — город Сортавала в Карелии. Сердобльская ярмарка с 1786 г. стала традиционной и устраивалась ежегодно на 4 дня в декабре, привлекая купечество и торговый люд Приладожья.

[^^^]

6

Бинки — здесь: стекла бинокля.

[^^^]

Прокудим — пройдоха.

[^^^]

Опружит — опрокинет.

[^^^]

Читай молитву преподобному Герману. — Преподобные (святые) Сергей и Герман — легендарные основатели Валаамского монастыря, валаамские чудотворцы, в 1819 г. канонизированные (официально признанные) русской православной церковью в качестве общерусских святых. По преданию, они обладали прозорливостью, даром пророчества, были целителями недугов, защитниками "от смертельного нашествия", а св. Герман считался "хранителем по морю плавающих". Св. Сергей поставил первую келью на Валааме, а св. Герман, его преемник, стал первым настоятелем (главой) монашеской валаамской общины. По одним сведениям, оба они были греками, пришедшими из Византии крестить язычников, по другим — св. Герман был карелом-язычником, и его окрестил св. Сергей. Исторические сведения об их жизни и деятельности на Валааме скудны, время их прихода на Валаам, которое является также временем основания Валаамского монастыря, в разных источниках, церковных и исторических, ука-

зывается разное — X в., XII в., XIV в. Историки более склонны относить основание Валаамского монастыря к XIV в.

[^^^]

Гостинник — монах, приставленный для обслуживания богомольцев, гостей и других посетителей монастыря.

[^^^]

Неглежа — с пренебрежением, небрежностью
(от франц. *neglige*— неглиже).

[^^^]

Вот хоть и лютер... — Здесь: лютеранин, приверженец лютеранства, одного из ведущих направлений протестантской веры. Его основатель — немецкий богослов, видный деятель Реформации Мартин Лютер (1483–1546) — начал свою религиозно-политическую жизнь, будучи монахом августинского (католического) ордена в Эрфурте. Лютеранство было распространено среди финнов и частично среди карел.

[^^^]

...капище Велеса, или Волоса, и Перуна. — Капище — храм язычников, идолопоклонников. Велес (или Волос) — бог скота у древних славян. Перун — верховное языческое божество в Древней Руси, бог грома и молнии.

[^^^]

От культа Велесова произошло... название острова. — Вопрос о происхождении названия острова является спорным, есть и другие объяснения, по которым слово "Валаам" — финского происхождения и в переводе означает "высокая земля", "горная земля", но последней ясности в этом вопросе нет.

[^^^]

...Св. апостол Андрей Первозванный, — Один из 12 апостолов (греч. — "посланник"), учеников Христа, призванных им для проповеди христианства. Обративший многих язычников в христианскую веру в 1 в. н. э. св. Андрей был распят гонителями христианства в греческом городе Патрасе на косом кресте. Он проповедовал Евангелие (Святое благовествование) также в Скифии и среди славян. (Евангелием называются первые четыре книги Нового Завета, рассказывающие о земной жизни Иисуса Христа и входящие в Библию, Священное Писание, — собрание книг Ветхого и Нового Завета.) Русская летопись "Повесть временных лет" рассказывает о том, как св. Андрей Первозванный прошел "путь из варяг в греки" — проплыл вверх по Днепру и через Волхов, посетив Новгород, приплыл в Ладожское озеро. Местное валаамское предание добавляет к этому, что св. Андрей был на Валааме, где окрестил язычников и водрузил большой каменный крест, и что св. Сергей Валаамский, приплывший вместе с апостолом,

остался на Валааме, где и построил первую келью. Этим преданием основание Валаамского монастыря относится уже к апостольским временам.

[^^^]

Рукопись "Оповедь" — "предисловие", "предуведомление" (от слова "оповедать" — оповестить, известить). Эта рукопись, которая еще более запутывает и без того неясный вопрос о возникновении Валаамского монастыря, уже в прошлом веке была изобличена как подделка. Ее автор, отставной офицер А.И. Сулакадзев, владелец одной из крупнейших в России частных коллекций древних рукописей и документов и хорошо известный тогдашним историкам-специалистам как фальсификатор рукописных памятников (он "исправлял" рукописи изменял, вымарывал написанное, дописывал), в 1827 г. сообщил в Валаамский монастырь, что в его коллекции есть некая "наидревнейшая" рукопись о Валааме. Сулакадзеву пригласили на Валаам и предоставили возможность работать в монастырской библиотеке над составлением истории острова и монастыря с использованием его рукописи. Хотя в старых книгах о Валааме сказано, что "Оповедь" — древнейшая рукопись, которая хранится в библиотеке Валаам-

ского монастыря, но ее никто не видел, поскольку Сулакадзев представил только свою (собственноручную) копию и сделанный им же перевод со старославянского. Составленная Сулакадзевым история Валаама, в основу которой положена "Оповедь", стала собранием выдумок и небылиц вроде посещения Валаама св. Андреем Первозванным, вроде посада на Валаама, по типу новгородского, во главе с мифическими Очеславом и Гуруславом, даже изготовлявшими собственные монеты, вроде связей Валаама с Римом времен императора Каракаллы, жившего на рубеже II–III вв. н. э. "Творчески переработанные" Сулакадзевым документы хранились в библиотеке Валаама и охотно цитировались авторами книг об истории монастыря, но в конце прошлого века они исчезли из монастырской библиотеки — видимо, на Валаама сочли, что труды Сулакадзева, не выдерживающие никакой критики, компрометируют монастырь в глазах просвещенной публики. Трудно сказать, чем руководствовался Сулакадзев, изготавливая свою подделку, — хотел ли он получить деньги от монастыря, мечтал ли о славе

первооткрывателя или просто был веселым человеком, любил созорничать, но его выдумки разрослись в легенды, уже трудно отделимые от истории монастыря. (Подробнее о Сулакадзе и его подделке см. в книге: Спиридонов А.М., Яровой О.А. Валаам: от апостола Андрея до игумена Иннокентия. Очерки истории Валаамского монастыря. М., 1991.)

[^^^]

Жизнь иноческая началась здесь ранее святого равноапостольного князя Владимира, — Иноческая — монашеская. Князь Владимир (? — 1015) — князь Новгородский и Киевский, в 988–989 гг. ввел в Киевской Руси христианство в качестве государственной религии; за крещение Руси признан русской православной церковью равноапостольным (равным апостолам). Факт возникновения монашества на Валааме ранее крещения Руси не подтверждается историческими документами, он почерпнут из той же "Оповеди".

[^^^]

Игумен (греч. церк.) — настоятель монастыря.

[^^^]

Приснотекущая (церк.) — всегда, постоянно текущие.

[^^^]

Раки преподобных — рака — гробница, в которой хранятся мощи, нетленные останки святых; устанавливается в церкви в виде большого ларца, ковчега или сундука и является предметом паломничества, поклонения верующих, для которых мощи обладают целительной или иной чудесной силой.

[^^^]

...силу, нашедшую нань... — На него.

[^^^]

Семо и овамо (нар., церк.) — здесь и там.

[^^^]

... зельнейшее... тщание... — Зельный — сильный, обильный. Тщание (церк.) — усердие, старание, забота.

[^^^]

Гельсингфорс — шведское название города Хельсинки, столицы Финляндии.

[^^^]

"...тщась о распространении ереси люторо-
вой". — Заботясь о распространении лютеран-
ства.

[^^^]

На версе (црк.) — на вершине.

[^^^]

На матерой берег — на материковый берег
(здесь — Ладожского озера).

[^^^]

о низвержении и мученической кончине св. Филиппа, митрополита московского"... — Митрополит Московский и всея Руси Филипп, в миру Колычёв Федор Степанович (1507–1569), боровшийся против бессудных расправ и казней Ивана Грозного, по приказу царя был задушен Малютой Скуратовым, любимцем Ивана Грозного.

[^^^]

"сослан архиепископ крутицкий Варлаам за участие в нечестивом соборе митрополита московского Дионисия с боярами о пострижении жены великого князя Феодора Иоанновича Ирины Феодоровны в иночество "за безчадие", — Царь Феодор Иоаннович (1557–1598), сын Ивана Грозного, последний русский царь из рода Рюриковичей, был женат на сестре Бориса Годунова, Ирине, и детей у них не было. Бояре и духовенство в 1584 г. во главе с митрополитом Дионисием, недовольные возвышением и властолюбием Годунова, составили бумагу, в которой от имени всей Руси торжественно "били челом" царю Феодору, чтобы он, дабы не прервался род Рюриковичей, развелся с "неплодной" Ириной, сослав ее в монастырь. Но Борис Годунов жестоко расправился с заговорщиками. Дионисий и один из самых яростных обличителей Годунова архиепископ Крутицкий Варлаам были лишены сана и заточены в монастырь.

Иноки же здесь живут... суровые, чуждые земным страстям и, следовательно, состраданию. — Немирович-Данченко здесь и далее не раз высказывает критическое отношение к монахам, ссылаясь на отсутствие в них сострадания, на их человеконенавистничество и даже отвращение к людям. Монах — иннок, человек иного мира, сторонящийся и не любящий суеты мира сего, он сознательно и добровольно покинул его. Однако это совсем не означает безжалостности и ненависти к людям. Наоборот, книга Немировича-Данченко, вопреки некоторым заключениям автора, свидетельствует о щедром гостеприимстве валаамских монахов, об их отзывчивой и простодушной готовности удовлетворить любопытность гостя, ответить на его вопросы, все ему показать... Что же касается монастырской дисциплины и запретов, ощутимых для мирского человека, то, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Черноризцы — еще одно название для монаха (кроме инока, чернеца), поскольку монахи одеты в черную ризу, то есть черное облачение, одеяние, одежду.

[^^^]

...для обрусения ладожских инородцев... — Строя церкви, создавая православные приходы в гуще местного коренного населения, карел, финнов, саами и других народностей, живших на берегах Ладожского озера, валаамские монахи вели не только миссионерскую деятельность, распространяя православие, и не только просветительскую, создавая приходские школы, но и занимались хозяйственным освоением и заселением отдаленных окраин и пустынных мест, тем самым разнообразно способствуя русификации местного населения.

[^^^]

В Саровской пустыне, — пустынь (или скит), пустыня, пустынька — уединенная обитель одного или нескольких монахов-отшельников. Со временем нередко такие пустыни, привлекая новых монахов, вырастали в крупные монашеские общины и тогда либо становились монастырями, как это было с Валаамским монастырем, либо, сохраняя ставшее привычным наименование (Оптина пустынь, Саровская пустынь и т. д.), существовали на правах монастырей. Знаменитая Саровская пустынь, основанная в XVII в., находится недалеко от города Темникова в Тамбовской области.

[^^^]

Старец Назарий (1735–1809) — игумен Валаамского монастыря в 1782–1801 гг., затем вернулся в Саровскую пустынь, где дожил до самой смерти "на покое", то есть не у дел, и где был погребен. Его жизнь и строительная деятельность на Валааме подробно описаны в книге: Валаамский монастырь и его подвижники. СПб., 1903.

[^^^]

Преосвященный Гавриил (в миру Петров Петр Петрович; 1730–1801) — митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, много способствовавший восстановлению и расцвету Валаамского монастыря, о чем рассказано в написанной о нем книге: Сказание о жизни и трудах преосвященного Гавриила, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского. Сочинение архимандрита Макария. СПб., 1857.

[^^^]

Иннокентий (1738–1828) — игумен Валаамского монастыря в 1801–1823 гг., преемник игумена Назария, умер в 90-летнем возрасте, погребен на Валааме. О нем также даны подробные сведения в указанной выше книге о Валааме.

[^^^]

О. Дамаскин (1795–1881) — игумен Валаамского монастыря в 1839–1881 гг., умер в возрасте 86 лет, погребен на Валааме. Ему посвящена книга: Замечательная жизнь и деятельность Валаамского монастыря игумена Дамаскина и поучительные его слова. СПб., 1904.

[^^^]

Странноприимница — странноприимный дом, приют для странников, калек, нищих, богадельня. Здесь: монастырская гостиница.

[^^^]

Иеромонах — монах-священник, имеющий право отправлять богослужение в церкви. Иеродьякон — монах, посвященный в дьяконы, низший духовный сан; помощник священника (иеромонаха) при богослужении. Схимонах (схимник) — монах, принявший схиму, то есть высшую степень монашества, требующую от посвященного выполнения самых строгих правил монашеского подвижничества, например одинокого пустынножительства, жизни в затворе без выхода из кельи и т. д. Иеросхимонах — схимонах, посвященный в сан священника, имеющий право отправлять богослужение.

[^^^]

...без вражьих мечтаний, — без мечтаний, которые насылает враг рода человеческого — дьявол.

[^^^]

Святое имя — имя, дающееся человеку при крещении.

[^^^]

Скуфейка — черная остроконечная монашеская шапочка.

[^^^]

...все были на послушаниях, — Послушание — работа, которая поручается каждому монаху при распределении монастырских дел. Послушания бывают черные — тяжелые физические работы; общие — в которых участвуют все трудоспособные монахи, например покос, сбор урожая; и особенные — работы, требующие особых знаний, умений или талантов, например кузнечная, слесарная, письмоводительская, иконописная и т. д.

[^^^]

Клобук — черное креповое покрывало, которое монахи носят поверх камилавки, черной шапочки, в форме расширяющегося кверху цилиндра без полей.

[^^^]

Бердовский завод — литейный завод в Петербурге, который в 1792 г. основал шотландец Ч. Берд.

[^^^]

Не монах византийского склада, — Тип монашества, сформировавшийся в средневековой Византийской империи, отличался книжной ученостью, аскетической практикой, то есть практикой подавления, изнурения, умерщвления плоти ради возвышения духа, и сугубым вниманием к обрядовой стороне религии.

[^^^]

Отнимите Зосиму и Савватия у соловецкой рабочей общины, — Св. Зосима (? — 1478) и св. Савватий (? — 1435) — основатели Соловецкого монастыря на Соловецких островах в Белом море.

[^^^]

Соборовали — совершили таинство елеосвящения над умирающим, помазания его тела священным елеем (освященным оливковым маслом), что, по учению православной церкви, служит духовному врачеванию телесных недугов, а также дарует умирающему отпущение тех грехов, в которых он не успел раскаяться. Обряд положено совершать собором из 7 священников (отчего он назван соборованием), но при необходимости может совершаться одним священником.

[^^^]

...купеческими саврасами. — Саврас — молодая необъезженная лошадь. Купеческих недорослей, плохо воспитанных и с буйным нравом, нередко называли саврасами.

[^^^]

Капуль — нос.

[^^^]

Спинжак — пиджак.

[^^^]

Канонархатъ — канонарх (церк.) — монах-регент, управляющий хором певчих, он задает глас (нечто похожее на тон в светской музыке), а затем первые слова канона, песнопения. В церковном пении 8 гласов, служащих основными образцами напевов. Видимо, "саврасы" пробовали свои певческие возможности в разных гласах.

[^^^]

...овощ от чресл... — Чресла (церк.) — поясница или окружность тела над тазом. Здесь; порождение купеческое...прикладываются к иконам. — Верующие, поклоняясь, приникают губами к иконам, целуют их.

[^^^]

...прикладываются к иконам. — Верующие, поклоняясь, приникают губами к иконам, целуют их.

[^^^]

...попадают в монастырь послушниками... —
Послушник — человек, готовящийся в монастыре к принятию монашества.

[^^^]

...может ли «самоубивец, и вдруг теперь, в царствие небесное войти». — Церковь рассматривает самовольное лишение себя жизни как грех великий и неискупимый, видя в самоубийстве проявление неверия в божественный промысел и самоуправство, лишает самоубийцу церковного отпевания, церковной молитвы за спасение души и права быть похороненным на освященной земле внутри церковной ограды. Но, как говорит один из героев «Мужицкой обители»: «Судье небесному виднее, кто чего стоит».

[^^^]

Купили это серничков... — Серник или серничек — лучинка для добычи огня, обмокнутая кончиком в растопленную серу, кустарно изготовленные спички.

[^^^]

Паркесное пение — так в церковном обиходе называли партесное пение — многоголосье с партиями для разных голосов.

[^^^]

Духовный меломан — любитель, знаток церковного пения.

[^^^]

... горе возносишься и на земле рай всем чело-
вецам ощущаешь... — Эти слова восходят к
молитве, называемой «Шесто псалмие»: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в челове-
цах ◆ благоволение». Горе — в высоту, в вы-
шину.

[^^^]

Музыкальные орудия — музыкальные инструменты.

[^^^]

Давид... Царя Саула на скрипке утешил? — По библейскому преданию, израильский царь Саул, смущаемый злым духом, призвал к себе пастуха Давида, впоследствии храброго воина, духовного поэта и первого царя Иудеи, чтобы Давид своей искусной игрой на гуслях успокаивал его. Игра Давида так понравилась царю Саулу, что он сделал Давида своим оруженосцем и продолжал утешаться его игрой: «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (I Книга Царств, 16.23).

[^^^]

Монастырь простой, не изглагольный... — Не тот, котором свою веру изглаголят, выражают словами.

[^^^]

Благовещение — праздник Благовещения Пресвятой Богородицы относится к «двунадесятым», то есть к 12 важнейшим, после Пасхи, праздникам христианской церкви, связанным с главными евангельскими событиями, и установлен в память того дня, когда архангел (начальствующий над ангелами) Гавриил возвестил Деве Марии тайну воплощения через Нее Сына Божьего — Иисуса Христа. Отмечается 25 марта по старому стилю (7 апреля по новому).

[^^^]

Преображение — праздник Преображения Господня, также относящийся к 12 важнейшим праздникам, установлен в память события, происшедшего во время молитвы Христа с тремя апостолами на горе Фавор, когда Христос «преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет». И услышали апостолы «глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Евангелие от Матфея, 17.2,5). Праздник Преображения отмечается 6 августа по старому стилю (19 августа по новому).

[^^^]

Храмовый праздник — иначе престольный праздник, когда торжественно отмечается день того святого, в честь которого построен храм.

[^^^]

Старообрядцы (раскольники) — русские православные люди, которые не приняли церковных реформ по обновлению православного обряда, произведенных патриархом Никоном в XVII в., и встали в оппозицию к официальной православной церкви, за что подвергались преследованиям и гонениям.

[^^^]

Нужа — бедность, крайность, недостаток в самых необходимых житейских надобностях.

[^^^]

Эпитимия (церк.) — епитимья — наказание разной строгости за грехи, налагаемое исповедующим священником; может заключаться в различных ограничениях и запретах, в посте, длительной молитве и т. д.

[^^^]

...сподвижники наши просветили. — Основатели Валаамского монастыря преподобные Сергей и Герман.

[^^^]

Литургия (церк.) — здесь: дневная церковная служба, обычно называемая обедней.

[^^^]

Трапеза (греч.) — совместный прием пищи, а также место, где это происходит, трапезная — в монастырях отдельное помещение с общим столом, монастырская столовая.

[^^^]

Паперть — крыльцо, площадка или галерея перед входом в церковь.

[^^^]

Зане (церк.) — ибо, потому что, так как.

[^^^]

Наши преподобные не оставляют своим руководством настоятеля. — Преподобные Сергей и Герман.

[^^^]

...как мытарю и язычнику, яко уподобившемуся Иуде предателю. — Мытарь — сборщик римских податей в Иудее, где понятия «мытарь», «язычник» и «грешник» значили почти одно и то же, поскольку мытари прибегали к обману, вымогательству и прямому воровству. Иудеи нередко даже запрещали им входить в храм и участвовать в общих молитвах и богослужениях. Иуда Искарот — один из учеников Христа, предавший его за 30 сребреников.

[^^^]

Исайя пророк — старший из великих библейских пророков. Книга пророка Исайи входит в Ветхий Завет как составная часть и содержит его жизнеописание, а также многие пророчества о судьбе еврейского и др. народов, о грядущем явлении Христа и евангельских событиях.

[^^^]

Иеремия — второй по старшинству из великих библейских пророков. Книга пророка Иеремии, входящая в Ветхий Завет, содержит его жизнеописание, пророчества и обличительные речи. Ветхий Завет также включает Плач Иеремии по разрушенному Иерусалиму.

[^^^]

Афон — гора на северо-востоке Греции, центр православного монашества, где расположены древнейшие христианские монастыри, в том числе русский Пантелеймонов монастырь.

[^^^]

Он, не ведая греческого языка, поясняет, как нужно переводить книгу «Добротолюбие»... — «Добротолюбие» — пятитомник, в который вошли избранные места из сочинений св. отцов церкви — христианских богословов и церковных деятелей II–VIII вв., заложивших основы христианского вероучения и обрядности (Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Григория Паламы и др.). Первый перевод с греческого был сделан архимандритом Паисием Величковским (1727–1794) по инициативе и под наблюдением митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (см. коммент. к гл. III), который считал необходимым привлечь к этой работе, кроме знающих греческий язык, еще и людей, опытных в духовной жизни и «монашеском делании», для чего обратился, в частности, к игумену Валаамского монастыря Назарию с просьбой внимательно изучить уже сделанный перевод и дать свои замечания. «Добротолюбие» быстро завоевало огромную популярность среди русского ду-

ХОВЕНСТВА.

[^^^]

Ефрем Сирин (нач. IV в. — 373 г.) — один из св. отцов церкви, подвижник и проповедник, автор богословских и нравоучительных сочинений; ему принадлежит молитва, которую читают в церкви во время Великого поста, предшествующего Пасхе, «Молитва св. Ефрема Сирина», переложенная на стихи А.С. Пушкиным (см. его стих. «Отцы-пустынники и жены не порочны»).

[^^^]

Прелесть — то, что обольщает, прельщает, льстит чувствам или покоряет себе ум и волю, являясь соблазном, исходящим от духа зла.

[^^^]

Воскресал он и расточал врази Его... — Врази (церк.) — враги. Расточал — рассеивал, разгонял. Эти слова восходят к «Молитве Честному Кресту»; «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...»

[^^^]

Столпотворения вавилонские — по библейскому преданию, попытка построить Вавилонскую башню до небес (столпотворение) закончилась тем, что Бог, разгневанный дерзостью людей, «смешал их языки», почему строители перестали понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. В переносном смысле: суета, суматоха.

[^^^]

...кая польза человеку, аще весь мир приобретет, душу же свою отщетит? — Приобрывает — приобретает. Отщетит — сделает тщетной, пустой, суетной. Цитата из Евангелия: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (От Матфея, 16.26.)

[^^^]

Барышник — мелкий торгош, скупщик, перекупщик.

[^^^]

Тесен путь, вводяй в живот! — Живот — жизнь. Цитата из Евангелия: «...тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь...» (От Матфея, 7.14.)

[^^^]

Блажен, иже и скоты милует!.. — Слова восходят к I псалму Давида, которым начинается Псалтырь, книга псалмов (духовных песнопений), входящая в Библию: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...» («Блажен муж, иже не иде...»)

[^^^]

Рясофор — рясофорный монах, как бы промежуточная ступень между послушником и полным, настоящим монахом, которую в монашеской практике уподобляют обручению, предваряющему заключение брака. Послушник, после нескольких лет послуха, получает от настоятеля благословение носить монашескую рясу с клобуком, но без пострижения в монахи, до которого ему еще не один год нужно ходить в рясофорах.

[^^^]

Чернетъ — чернь, народ,

[^^^]

«Свете тихий» — первые слова молитвы «Вечерняя песня Сыну Божьему»: «Свете тихий, святая славы бессмертного Отца небесного, святого, блаженного, Иисусе Христе!»

[^^^]

Коринфский Аполлон Аполлонович
(1868–1937) — плодовитый стихотворец и
переводчик. Карелин Андрей Осипович
(1837–1906) — художник, фотохудожник.

[^^^]

В Соловках, Троице-Сергии, Юрьевском, Святых Горах... — Здесь перечислены известные монастыри — Соловецкий, Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде (бывший Загорск) под Москвой, Юрьевский монастырь в Новгороде и Святогорский Успенский монастырь на Северном Донце, в нынешней Донецкой области, о поездке в который Вас. Ив. Немирович-Данченко написал книгу: Святые Горы. Очерки и впечатления. СПб., 1880 (новое издание: Донецк, 1990).

[^^^]

...от Петрова дня до 15 июля... — День св. апостолов Петра и Павла, который называли Петров день или Петровки, празднуется по старому стилю 29 июня (12 июля по новому).

[^^^]

Отрадиться — искать утешения, облегчения душевной скорби.

[^^^]

Шкипарь — шкипер, капитан.

[^^^]

С белой кавалерией на шее генерал-то. — Кавалерия (простореч.) — орден. Различались ордена не только формой и нанесенным на них изображением, но также цветом и местом ношения. У генерала был орден св. Георгия — золотой крест, покрытый белой эмалью. А поскольку он носил его не на ленте (I степень) и не в петлице (IV степень), а на шее, то у него был орден св. Георгия II степени (большой крест) или III степени (малый крест).

[^^^]

«...под нозе покорил...» — Цитата из Евангелия: «Последний ♦ же враг истребится — смерть. Потому что все покорил под ноги Его...» (I Послание к Коринфянам святого апостола Павла, 15.26,27.)

[^^^]

Новгородские ушкуйники — вооруженные дружинники, которые в XIV–XV вв. промышляли грабежом, отправляясь из Новгорода по Волге на специально приспособленных для раз боя ладьях-ушкуях.

[^^^]

Кауряя иностранка — здесь: капризная, требовательная.

[^^^]

Юровья — в северных говорах юрово — стадо,
юрвья — стада (олений).

[^^^]

Божья Матерь Владимирская — икона Владимирской Богоматери, одна из древнейших икон греческого письма (по преданию, написана св. евангелистом Лукой), была принесена великим князем Суздальским Андреем Боголюбским из Киева во Владимир, отчего она и называется Владимирской. В 1395 г. взята в Москву и с тех пор находится в Кремле, в Успенском соборе. В XVI–XVII вв. была наиболее чтимой в Москве иконой, которой приписывалась заслуга в избавлении Руси от татарского ига, и в ее честь воздвигались церкви и часовни.

[^^^]

Крылостные — певчие, во время службы стоящие на клиросе — возвышении по обеим сторонам алтаря. Слово «клирос» в просторечии называли крылосом.

[^^^]

Смоленская Божья Матерь — также одна из древнейших икон и тоже, по преданию, написанная св. евангелистом Лукой. Существуют разные версии по поводу того, как она оказалась на Руси. По одной версии, икона была привезена греческой царевной Анной, ставшей женой князя Владимира. По другой — византийский император Константин в 1046 г. благословил этой иконой свою дочь, выдавая ее замуж за Черниговского князя Всеволода Ярославича. Поэтому икона была названа Одигитрия — Путеводительница. Унаследовавший икону Владимир Мономах перенес ее в Смоленск и поставил в храме, который заложил в 1101 г. Когда русские войска покидали Смоленск в 1812 г., они взяли с собой Одигитрию, и на Бородинском поле носили ее по расположениям русских частей, после каждой победы над французами служа перед ней благодарственные молебны. В честь Одигитрии, заступницы земли Русской, также воздвигались храмы.

[^^^]

...у Ноя во ковчеге... — Согласно библейскому сказанию, праведник Ной, по повелению Бога построивший ковчег, спасся на нем, вместе с семьей и отобранными попарно животными, во время всемирного потопа.

[^^^]

Египетские массы — массы камня, потребовавшиеся для возведения египетских пирамид — гигантских гробниц фараонов.

[^^^]

...по частям ночует. — По полицейским участкам для вытрезвления.

[^^^]

Манатейный монах — манатья (церк.) — мантия монаха, на ношение которой он приобретает право только после пострижения. Манатейный монах — монах, уже прошедший иску́с (испытательный срок), давший монашеский обет, прошедший обряд пострижения (крестообразно выстригаются волосы на голове) и получивший новое, иноческое имя.

[^^^]

...как прилежный раб в притче. — Евангельская притча о рабе, который в 10 раз преумножил деньги своего хозяина, пустив их в оборот, в награду за что хозяин дал ему в управление 10 городов (Евангелие от Луки, 19.12–26).

[^^^]

Луда — подводные плоские камни, мели.

[^^^]

Преполовление — половина, середина. День Преполовления установлен в память о церковной проповеди Христа: "В преполовление праздника взыде Иисус в церковь, и учаще" — "Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил" (Евангелие от Иоанна, 7.14). Празднуется в среду четвертой недели после Пасхи.

[^^^]

Иде же есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше! — Цитата из Евангелия; "Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (От Матфея, 6.21).

[^^^]

...в обители о. Ириной был келиархом и звался о. Иваном. — Келиарх — монах, который заботится о размещении по кельям путников, прибывших в монастырь. При посвящении в схиму монах получает новое имя.

[^^^]

Иоанн акридами... питался. — Иоанн Креститель (Предтеча), последний в ряду библейских пророков, провозвестников Христа, по библейскому преданию, юность провел в пустыне, где питался акридами (род саранчи) и диким медом.

[^^^]

Угрешский монастырь — подмосковный Николо-Угрешский мужской монастырь, основанный в 1380 г. Дмитрием Донским в память победы на Куликовом поле.

[^^^]

Байдарские ворота в Крыму — перевал на юго-западе Крымского полуострова из Байдарской долины через Крымские горы к Черному морю.

[^^^]

Манилов — герой поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души".

[^^^]

Фавор — священная для христиан гора в Палестине, на которой произошло Преображение Господне.

[^^^]

Наместник — помощник игумена, настоятеля монастыря.

[^^^]

...образ Нерукотворенного Спаса, собственно-го письма графини Орловой. — Нерукотворный Спас — особый тип изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе (плате). Согласно православному преданию, после того как художник, посланный эдесским царем Авгарем, не сумел изобразить Христа, Христос умыл лицо, отер платом, на котором остался отпечаток, и вручил его художнику для передачи Авгарю. Графиня Орлова Анна Алексеевна (1785–1848) — дочь сподвижника Екатерины II, графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского (1737–1808), оставившего своей дочери огромное состояние. После смерти отца, видимо искупая его грехи, пожизненно поселилась в келье Юрьевского монастыря, ведя жизнь добровольной затворницы, но не принимая монашеского пострижения; жертвовала большие денежные суммы монастырям, в том числе Валаамскому.

...из неверных мест. — Из мест, где живут "неверные", не исповедующие христианской веры — мусульмане, язычники и т. п.

[^^^]

Бузук (от турецкого башибузук) — сорвиголова, буйный человек, разбойник.

[^^^]

Жестоковыйность — непреклонность.

[^^^]

Валаамова ослица — По библейскому сказанию, месопотамский прорицатель Валаам, польстившись на богатые подарки и вопреки запрету Бога, хотел проклясть израильский нар од, чтобы ослабить его и сделать легкой добычей врагов. Но ослица Валаама вдруг заговорила человеческим голосом и стала обличать его, после чего вместо проклятия Валаам произнес величественное благословение народу Израиля. Выражение "Валаамова ослица" употребляется в ироническом смысле в том случае, если вдруг неожиданно заговорит обычно молчаливый человек.

[^^^]

Нестроение — неустройство в делах, беспорядок.

[^^^]

Заводчики — зачинщики, коноводы.

[^^^]

...притча о верблюде и игольном ушке... —
"Иисус же сказал ученикам Своим; истинно
говорю вам, что трудно богатому войт в Цар-
ство Небесное. И еще говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие"
(Евангелие от Матфея, 19.23–24)

[^^^]

...странник в веригах. Весили они у него семь фунтов, — железные цепи, кольца, железные оковы разного рода — железный колпак, железные подошвы, медная икона на груди с цепями от нее, — которые носили монахи-аскеты на голом теле, не снимая, для смирения плоти. Фунт — примерно 1/4 кг. Странник, явившийся к отцу Дамаскину, носил железные цепи весом около 3 кг и просил утяжелить их в монастырской кузнице до 30 фунтов, т. е. до 12 кг.

[^^^]

Из одной книги цветочек, из другой книги цветочек... — Цветочками в монастырском обиходе называли цитаты из Священного Писания, творений св. отцов церкви и российских богословов; рукописные тетрадки с такого рода цитатами, выписками, выдержками, которые нередко заводили для себя монахи, обычно назывались "Цветниками" — по примеру известных в древнерусской литературе сборников кратких статей и изречений.

[^^^]

Дело было еще впусе. — Еще не запущено, не начато.

[^^^]

Преосвященный Григорий (в миру Постников
Георгий Петрович; 1784–1860) — митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский с 1856 г.

[^^^]

Смолокурня — место, где "курят" смолу, вытапливают ее из сосновых пней, корней, валежника в печах или крытых ямах для производства смолы, скипидара, дегтя.

[^^^]

Аракчеев Александр Андреевич (1769–1834) — русский государственный деятель, генерал, всеильный временщик при императоре Александре I, с его именем связаны муштра, деспотизм, подавление инакомыслия.

[^^^]

Иоанн Златоуст (ок. 350–407) — один из св. отцов церкви, автор богословских сочинений, в том числе множества бесед и проповедей, которые являются образцом христианского ораторского искусства, почему он и назван Златоустом.

[^^^]

Лука — святой, один из четырех евангелистов, рассказавших о земной жизни Христа, автор также входящей в Новый Завет книги Деяний святых апостолов, в которой повествуется об их жизни, о трудах по распространению христианской веры.

[^^^]

...должен прочитать сколько параклисов, канонов, акафистов. — Параклисы — богослужебные молитвы в честь Св. Духа. Каноны — церковные песни в похвалу какого-либо святого или праздника. Акафисты — хвалебные песни и молитвы Спасителю, Богоматери и святым, во время пения которых в церкви молящиеся должны стоять («акафист» переводится с греческого как «неседилен»).

[^^^]

«Голая луда» — плоская каменная поверхность без земляного покрова.

[^^^]

...развели «кущу». — Здесь: сад.

[^^^]

Келарь — монах, ведающий монастырскими припасами и кладовыми, где они хранятся.

[^^^]

...с чисто монашеским эгоизмом... — Среди монахов были люди высокого духовного опыта, обладавшие прозорливостью, даром чтения в человеческом сердце. Общение с миром они воспринимали как крест, который призваны нести: принимали богомольцев и, погружаясь в их душевные страдания и житейские заботы, в их мир греха, суеты и соблазна, давали советы, разрешали сомнения. Беседы с такими монахами были высокопоучительны и приносили утешение мирским людям. Но были и другие, которые видели свое призвание, подобно отцу Афанасию, в том, чтобы посвятить себя безмолвному отшельничеству, посту и молитве, выполняя евангельский завет: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Евангелие от Матфея, 4.10), — и обвинение в эгоизме или ненависти к людям, по-видимому, здесь неуместно.

[^^^]

...посадили в холодную... — Холодная (просто-реч.) — помещение для арестантов.

[^^^]

Просфора (греч., церк.) — просвира — круглый хлебец из пшеничной муки особой выпечки, с оттиснутым изображением креста или Богоматери; употребляется в обрядах православной церкви.

[^^^]

Духовник — духовный отец, священник, принимающий исповедь, осуществляющий духовное руководство.

[^^^]

...навезли сюда плодородной земли... — Валаамские монахи на расчищенные от леса места наносили перегнившую хвою, хворост, мелкий щебень, пересыпали все это землей, которую в мешках и корзинах везли с материка. Получался искусственный слой земли (на гранитной подушке) толщиной до двух метров, на нем и закладывали знаменитые Валаамские сады.

[^^^]

Регелевские (сады) — Регель Эдуард-Август (1815–1892) — ученый садовод, был директором Императорского ботанического сада в Петербурге.

[^^^]

Вертоград (церк.) — плодовый сад или виноградник.

[^^^]

...в защиту крестьян противу откупов. — Откуп (здесь: винный откуп) — монопольное право продажи вина и водки в какой-либо местности, откупленное (выкупленное) у государства определенным человеком, которого называли откупщиком и который, получая огромные доходы от продажи, спаивал крестьян.

[^^^]

Глинская пустынь — Глинская-Рождество-Богородицкая мужская пустынь, основанная в XVII в., недалеко от города Путивля в Сумской области.

[^^^]

...за искренность называли «прелестным» старцем... — «Прелестным» соблазняющим, потому что о. Алимпий, видимо, говорил все, что ему мечталось и думалось, не сдерживаясь.

[^^^]

Ошую (нар.) — налево, по левую руку, по левую сторону.

[^^^]

Александр Свирский (1449? — 1485?) — почитаемый на Валааме святой; по местному преданию, в юности он ушел из дома родителей на реке Свирь, был пострижен на Валааме и жил отшельником на острове Святом в пещере, высеченной в скале. Потом вернулся на реку Свирь, где основал Троицкий монастырь. В его память на острове Святом была сооружена часовня.

[^^^]

Палья-кумжа — рыба, схожая с форелью.

[^^^]

Лемнос — греческий остров в Эгейском море.

[^^^]

Бить воды — узкая протока воды.

[^^^]

Агнец — ягненок.

[^^^]

...мальчиком-чухной... — Чухна или чухонцы — так называли финнов.

[^^^]

Швальня — швейная, портняжная мастерская, место, где шьют.

[^^^]

Приватно (лат.) — частным образом, не по служебной обязанности.

[^^^]

Не подобает иноку в мире жить. Мир — что море лютное! — Такое отношение инока к миру заповедано Евангелием: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего» (I Соборное Послание святого апостола Иоанна Богослова, 2.15–16). Но тот же Иоанн Богослов постоянно призывает к любви: «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (Там же, 4.7–8). Евангелие заповедует любовь к ближнему и нелюбовь к «миру сему», и здесь нет противоречия: ненависть к греху в человеке не означает ненависти или отвращения к самому человеку, поскольку грех — от дьявола, «князя мира сего», который пользуется человеческой слабостью.

Версинецкий — искаженное университетский.

[^^^]

Маги египетские — волхвы, волшебники египетские, не раз упоминаемые в Библии, были учеными мужами, которые имели обширные знания о небесных светилах, о тайных силах природы и умели творить чудеса.

[^^^]

Синайские отшельники — Синайский полуостров находится в Красном море между Суэцким и Акабским заливами. Гора Синай, окруженная пустынями, не раз упоминается в Библии и является одним из священных мест для христиан, куда они с древних времен удалялись, спасаясь от гонений, где селились пустынножители, ища безмолвия и уединения.

[^^^]

...как на Шипке... — Шипка — горный перевал в Болгарии, на котором во время русско-турецкой войны в августе 1877 г. русские и болгарские войска одержали победу над турками. На Шипке установлен памятник-музей русским и болгарским воинам, павшим в боях за освобождение Болгарии, а в Москве у Ильинских ворот воздвигнут памятник героям Шипки.

[^^^]

Покров Богородицы — православный праздник, установленный на Руси в XII в. в память о чудесном явлении Богоматери во Влахернском храме в 910 г. во время осады Константинополя арабами: находившиеся в церкви люди увидели, как идущая по воздуху Богоматерь распростерла свое покрывало (мафорий) над собравшимися в храме и молилась об избавлении народа от бедствий. Празднуется 1 октября по старому стилю (14 октября по новому).

[^^^]

Шеффилд (Шеффилд) — английский город, крупный центр тяжелой промышленности.

[^^^]

Колеровали — расписывали кистью.

[^^^]

Толцыте — и отверзетя вам... — Цитата из Евангелия: «...стучите, и отворят вам» (От Матфея, 7.7).

[^^^]

Рамени — плечи.

[^^^]

...не совсем монашеским попечением об утрии... — Утрие (церк,) — завтрашний день. Действительно, не монашеское дело заниматься житейским попечением и заботиться о завтрашнем дне: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Евангелие от Матфея, 6.34). Но не о своем завтрашнем дне заботились валаамские монахи, а о славе монастыря и русской православной церкви.


[^^^]

...эпическими фараонами... — Египетские фараоны, неограниченные и гордые властители Древнего Египта, строители величественных пирамид.

[^^^]

Древле (нар.) — в давние времена, встарь, в старину.

[^^^]

...зде пребывающего града не нужно... грядущего искали! — Слова восходят к Евангелию: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем грядущего» (Послание к Евреям святого  апостола Павла, 13.14).

[^^^]

...факиру улыбается Брама... — Факир — в Индии нищий странствующий монах, аскет и подвижник. Брама — высшее божество, творец мира в религии древней Индии.

[^^^]

...с Моисеем из горящей купины разговаривал сам Бог... — по библейскому сказанию, в неопалимой купине, большом терновом кусте, который горел, но не сгорал, пророку Моисею явился Бог, призывая Моисея избавить евреев от египетского рабства.

[^^^]

Лопарская вежа — шалаш лопарей — ла-
пландцев и саами.

[^^^]

...в этом крине сельном... — Крин (церк.) — лилия. Сельный (церк.) — полевая, дикорастущая.

[^^^]

Преподобный Исаак Сирянин — один из св. отцов церкви, знаменитый христианский богослов, живший в VII в. и оставивший 7 томов поучений о способах христианского самосовершенствования под названием «Монашеское правило».

[^^^]

Иоанн Лествичник (ок. 525–606) — христианский святой, отшельник и подвижник, автор знаменитого руководства монашеской жизни «Лествица райская», в которой рассматривал монашеский подвиг как процесс непрерывного и сложного восхождения по лестнице духовного очищения и само совершенствования. Эта книга имела множество читателей среди православного монашества.

[^^^]

Здесь пока социализм нашел беспрепятственное осуществление своей идеи. — Немирович-Данченко видит в валаамской монашеской общине прообраз будущего социализма, усматривая большое сходство между ними. Но он имеет в виду утопический, мечтательный социализм, далекий от того реального социализма, который «строили» в России после 1917 г.

[^^^]

Вотще (нар.) — тщетно, напрасно.

[^^^]

«Закхей на дереве, приглашающий Христа» — Евангельский эпизод, в котором рассказывается о том, как мытарь Закхей, горя страстным желанием увидеть Христа, пришедшего в город Иерихон, влез на дерево смоковницу, поскольку был малого роста. Христос, увидев Закхея на дереве, сказал ему, что хочет прийти в его дом.

[^^^]

«Исцеление прокаженных» — этот эпизод описан у евангелиста Луки: по дороге в Иерусалим Христос встретил десять больных проказой, страшной и заразной болезнью, и они попросили исцелить их. «...Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились», — пишет. Лука и продолжает: «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его... Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу..? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя» (От Луки, 17.14–19).

[^^^]

«Исцеление слепорожденного» — этот эпизод об исцелении слепого Христом описан у евангелиста Марка: «Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки, и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно» (От Марка, 8.23 — 25).

[^^^]

Иллюстрация — здесь: дешевые печатные раскрашенные картинки, воспроизводящие жития святых, библейские сюжеты, иконы и т. д.

[^^^]

«Аще убо живем, Господеви живем; аще убо умираем, Господеви умираем»... — Цитата из Евангелия: «А живем ли, для Господа живем; умираем ли, для Господа умираем: и потому, живем ли, или умираем, всегда Господни» (Послание к Римлянам святого апостола Павла, 14.8).

[^^^]

Твой есмь аз... — Слова из «Молитвы Господу Иисусу Христу»: «Не вем: душа бо и тело и вся благая от Тебя суть, и вся моя Твоя суть, и аз Твой есмь» (я Твой есть).

[^^^]

А вот тут лежит шведский король. — История о короле Магнусе II не подтверждается историческими фактами и является валаамской легендой.

[^^^]

Конунг (др. — норв.) — у скандинавских народов в Средние века так называли военного вождя, а с образованием государства в Швеции, Норвегии, Дании — короля.

[^^^]

Кондотьери (итал.) — в Италии XVI–XVIII вв. предводитель наемных военных отрядов, которые вербовались из иноземных рыцарей и находились на службе у отдельных государей или римских пап.

[^^^]

...как некогда гонителя Савла. — Апостол Павел до обращения в христианство носил имя Савл и был яростным гонителем христиан. Но по дороге в Дамаск его поразили чудный свет с неба, и ему открылся Христос, после чего Савл сделался совершенно другим человеком и стал ревностно проповедовать христианскую веру, которую прежде преследовал с такой жестокостью.

[^^^]

Паки (нар.) — снова, опять.

[^^^]

...вместо царския диадимы... — искаженное для рифмы диадема (греч.) — головная повязка или металлический обруч, в древности и в Средние века служила знаком царского или жреческого достоинства.

[^^^]

...зверь привёрженный... — Покорный, привязчивый (от глагола приверзнуть — расположить к себе, привязать).

[^^^]

Грудно — кучей, толпой.

[^^^]

...перешеек, устроенный соловецкими иноками от своего острова к Муксальме... — насыпная плотина, дамба, которую Немирович-Данченко так описывает в своей книге «Соловки»: «Остров Муксальма находится на расстоянии двух верст (примерно 2 км. — Н.О.) от Соловецкого. Между ними — несколько мелких островков в разных направлениях. Монахи все эти острова соединили между собой — завалив море до самого дна камнями и покрыв этот искусственный перешеек щебнем и песком. Сооружение грубое, но колоссальное, вечное. Бури, ледяные громады, время — бессильны перед этою каменною стеною. Сколько труда надо было потратить на такую стихийную работу — страшно подумать. Это кажется скорее делом природы, чем творением рук человеческих /.../ По краям этого сооружения на валены громадные валуны, целые скалы. О них разобьется всякая ледяная масса, прежде чем тронет их с места. И все это сделано без помощи машин — одною рабочею ручною силою. Трудно верить, не видев,

что горсть крестьян-монахов могла создать это чудо труда и гения» (Соловки/ Воспоминания и рассказы из поездок с богомольцами. СПб., 1874, с. 274).

[^^^]

Плутонептунические силы — соединение подземных вулканических процессов (Плутон — в греческой мифологии бог подземного царства) с воздействием моря (Нептун — в римской мифологии бог морей и вод).

[^^^]

Содом и Гоморра — по библейскому сказанию, два города у устья реки Иордан, жители которых погрязли в праздности, распутстве и бесчестии, за что эти города были превращены в камень и пепел: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли» (Бытие, 19.24–25).

[^^^]

Катаклизм (греч.) — разрушительный переворот, катастрофа.

[^^^]

Бескровная жертва — символическое жертвоприношение, которое совершил Христос на последней трапезе с учениками во время Тайной вечери, накануне Его смерти на кресте. Эта трапеза происходила в первый день иудейской Пасхи, когда по праздничному ритуалу закалывали и вкушали пасхального агнца (ягненка). На Тайной вечере жертвенным агнцем выступил Сам Христос, преломив хлеб и подав ученикам чашу с вином со словами: «Сие есть тело Мое... сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов» (Евангелие от Матфея, 26.26, 28).

[^^^]

...святцы в виде скрижалей. — Святцы — икона с изображением святых, чтимых православной церковью, расположенных в календарном порядке по дням года, к которым приурочено чествование каждого святого. Скрижали — две каменные плиты с высеченным на них текстом 10 заповедей, по \blacklozenge библейскому преданию, полученных пророком Моисеем от \blacklozenge Бога на горе Синай.

[^^^]

...каменные скалы Вифлеема и Назарета... — Вифлеем — город в Палестине недалеко от Иерусалима, где родился Христос. Назарет — город в Галилее, северной части Палестины, где прошло детство и отрочество Христа. Поэтому Христа называли Иисусом Назореем и Иисусом Галилеянином.

[^^^]

Водополъе — половодъе.

[^^^]

Панихида (греч.) — церковная служба, совершаемая над телом умершего, а также в годовщину его смерти или рождения.

[^^^]

Анафема (греч.) — церковное проклятие, отлучение от церкви.

[^^^]

Схоластическая диалектика — здесь: оторванное от жизни бесплодное умствование. Схоластика (греч.) — школьная философия Средних веков; особенность схоластического философствования состоит в том, что придается чрезмерное значение общим понятиям и обозначающим их словам, в результате чего игра понятиями и словами встает на место действительного изучения природы и фактов. Диалектика (греч.) — искусство вести спор, основанное на знании правил и приемов построения выводов, опровержений, доказательств.

[^^^]

... г. Лесковым в его «Запечатленном ангеле». — Лесков Николай Семенович (1831–1895) — русский писатель; в рас сказе «Запечатленный ангел» (1873) Лесков, будучи тонким знатоком русской иконописи, встал на защиту древней русской иконы от невежественного, преступно-пренебрежительного к ней отношения. В 1872 г. Лесков совершил поездку на остров Валаам, о которой рассказал в книге «Монашеские острова на Ладожском озере. Путевые заметки» (1874).

[^^^]

апологетические книги — книги, в которых защищается христианское вероучение.

[^^^]

казуистические трактаты по богословию — труды, посвященные казуистике — так в богословии называется учение о пределе и мерах греха в различных ситуациях. Отсюда слово «казуистика» стало употребляться в другом значении — как подведение частных случаев посредством многосложных мыслительных ходов под общие принципы морали, религии, права с целью морального, религиозного, юридического оправдания или осуждения эти случаев.

[^^^]

Тишендорф Константин (1815–1874) — известный протестантский богослов, автор научных трудов и критических исследований, связанных с греческими текстами Ветхого и Нового Завета; публикатор полного текста на греческом языке одного из древнейших списков Библии — Синайского кодекса, найденного им в православном монастыре св. Екатерины на Синае.

[^^^]

Синод (Святейший Синод) — в 1721–1914 гг. высший государственный орган в России, ведавший делами православной церкви; в 1914 г. Синод был упразднен и в 1918 г. восстановлено традиционное для России патриаршество, в свое время отмененное Петром I.

[^^^]

Консистория — в православной церкви административно-судебное учреждение при архиепископе для управления епархией.

[^^^]

Ландсман (нем.) — здесь: местный чиновник. Относясь по церковной части к Петербургской митрополии, Валаамский монастырь в территориально-административном отношении принадлежал к Сердобольскому уезду Выборгской губернии, с 1811 г. входившей в состав княжества Финляндского. После присоединения Финляндии в 1809 г. к Российской империи была сохранена существовавшая прежде в Финляндии конституция и система управления: сейм — сословный парламент, ландраты — окружные местные советы и т. д.

[^^^]

A livre ouvert (франц.) — с листа (без подготовки).

[^^^]

...энергия последних язычников александрийских. — В библейском рассказе о св. апостоле Стефане, который за проповедь христианства был схвачен и побит камнями, среди зачинщиков этой кровавой расправы названы александрийцы, иудеи из города Александрия в Египте.

[^^^]

...старый спор между Марфой... и Марией... — Имеется в виду спор между Марфой — олицетворением практичности и Марией — духовности в евангельском эпизоде: принимая Христа в своем доме, Мария «села у ног Иисуса и слушала слово Его». Сестра же ее Марфа «заботилась о большом угощении, и подошедши, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, А одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у ней» (От Луки, 10.39 — 42).

Н.И. Осьмакова

[^^^]

Комментарии

Страницы 50 и 51 отсутствуют в источнике.

[^^^]